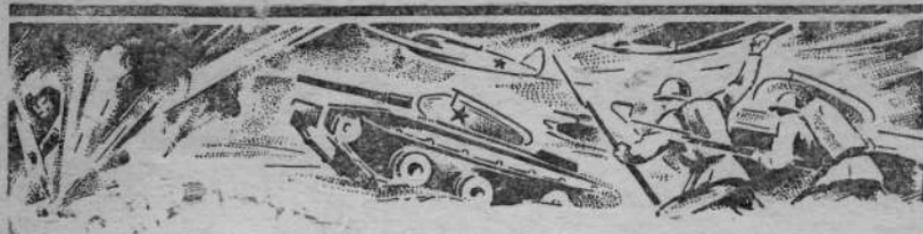


355683



Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

ПОВЕСТИ 43 Г.

# ГВАРДЕЙЦЫ

ПОВЕСТЬ

ОГИЗ 1942  
САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I.

Керосиновый чад, красноватый неровный свет, жар розовой от накала железной печурки, длиннорукие тени, мелькающие по досчатым стенам блиндажа. Но политруку Дементьеву было здесь хорошо. Вода, которой насыщен был его ватник, нагрелась—еще часок, другой и, возможно, что ватник даже совсем высохнет. Дементьеву нравились люди, которые собрались сейчас на командном пункте полка, и очень было интересно то, о чем здесь громко говорили по телефону, о чем быстро и дружно сговаривались между собой или же шумно спорили над картой.

Все это относилось к бою, которым управляли отсюда и который давал себя знать глухими ударами, заставляющими прыгать красноватый огонек керосиновой лампы. Политрук Дементьев пришел сюда впервые. Из Москвы, которая была в 70 километрах отсюда, в политуправление фронта было направлено 48 политработников, и тут же их разослали по армиям. В армиях распределили по дивизиям. В этот полк пришел он один. Комиссар приказал ему обождать,—вот он и ждет. Через час, а может быть через полчаса им займутся, дадут новое назначение, и то, о чем здесь говорят начальники, превратится для него в тяжелый, кровавый и благородный труд, который с начала войны стал больше, чем его призванием: ничего для него не существовало в жизни, кроме этой войны. Оттого он весь поглощен был тем, что происходило в землянке, хотя многого не понимал: точно со середины попал ему в руки роман, тем более увлекательный, что на какой-то странице он сам должен был начать действовать в нем.

Особенно интересно стало с тех пор, как в землянку вошел капитан Стахеев. Этот капитан с артиллерийским трафаретом на зеленых петлицах был сильно простужен, его слабый голос то и дело застигала хрипота и он откашливался, деликатно прикладывая руку ко рту...

— Ну, ну... Давай-ка! Давай,—говорил тогда комиссар стрелкового полка Язев. В его легких движениях, в зеленых быстрых глазах, во всей игре его чисто выбритого округло-

го лица, было что то, делавшее его похожим на озорного мальчишку, из тех, которые не могут пройти мимо голубиной, пасущейся на дороге, стаи, чтобы не лукнуть в нее камнем. Долговязый, большерукий командир артиллерийского полка майор Воловик, слушая капитана Стахеева, записывал что-то и порой с торжеством оглядывал всех выпуклыми ясными глазами, словно именно он и выдумал это самое чудо, этого капитана Стахеева...

А Стахеев, откашлявшись, говорил своим слабым, но внятным голосом:

— Продолжать обычную артподготовку, которой мы безуспешно занимались последние сутки, применяя обычный метод отлогой траектории, я считаю бессмысленной тратой снарядов. Враг глубоко зарылся, и даже при попадании в его линии вред, ему причиняемый, очень относителен. Что же нам делать?—Капитан Стахеев своими маленькими и очень блестящими глазами оглядел всех, кто находился в землянке, включая и политрука Дементьева.—Я думаю, что мы правильно сделаем, если перейдем к стрельбе по методу навесной траектории.

— Командирам орудий все время придется пользоваться артиллерийскими таблицами...—перебил его майор Воловик.

— За уровень артиллерийской культуры командиров моего дивизиона я ручаюсь,—ответил капитан Стахеев. Некоторое застенчивое самодовольство было слышно в его голосе. Командир артполка опять, торжествуя, оглядел всех: «Каков-де мой Стахеев-то, а?»

— И ты считаешь, что фашисты так-таки и не вынесут вашей навесной траектории?—спросил угрюмого вида полковник, командир стрелкового полка и положил на карту свою большую темнокрасную, обветренную руку, точно все, что было на карте, принадлежало ему.

Капитан Стахеев пожал плечами и с кротким сожалением взглянул на полковника. За капитана ответил майор Воловик.

— Тут все бесспорно, Алеша,—сказал он,—немец, как тебе известно, забился под землю, навесная траектория гарантирует нам неизмеримо большую разрушительную силу. Будем бить прицельным огнем, отдельно корректируя каждый выстрел. Это не будет тот метод огневого налета, который мы все время практиковали, и не беглый огонь по площади. Это будет стрельба на разрушение целей, которую будет вести каждое отдельное орудие. Я гарантирую, что после четырех часов подобной работы от их оборонительной системы ничего не останется, и вы можете притти и брать фрицев голенькими.

Майор Воловик замолчал, наступила тишина, особенно ощутительная после того, как смолк его громкий голос, и в

этой тишине Дементьев вдруг услышал, как слабенький, хриповатый, но очень приятный голос пропел:

Не по-гражданскому в карете.  
Не по-пехотному пешком—  
К венцу поедем на лафете,  
Орудие гаубицу возьмем...

Это пел капитан Стахеев, и всем, что он говорил, и тем, как он себя вел, и особенно этой забавной песенкой он очень понравился политруку Дементьеву. Но, кроме политрука, никто не обратил внимания на эту песенку, которая была так лукаво-весело пропета. Полковник даже нахмурил в сторону Стахеева свои темнорыжие, густые брови и требовательно обратился к майору Воловику:

— Давай точно. Сколькими часами мы располагаем?

Майор вопросительно взглянул на капитана Стахеева, который в это время закуривал от жаркой, розовой печной стенки, и Дементьев близко видел желтоватую, усталую кожу на его виске. Он закурил и сказал:

— А я уже подготовил батареи. Промедление, как известно, смерти подобно, я и решил использовать эту ночь, чтобы не откладывать на следующую. Уверен был, что мой вариант будет принят.—Он встал и вытянулся перед майором Володиным:

— Второй дивизион ждет ваших распоряжений, товарищ командир.

— Я всегда знал, что вы настоящий командир, Юра,—горячо ответил ему майор Воловик.

— Служим Советскому Союзу,—сказал Стахеев,—не более как через пятнадцать минут фрицы на своей шкуре почувствуют, что не случайно гений русского народа носит славную артиллерийскую фамилию, Пушкин!—воскликнул он. Пушкин—пароль и лозунг второго дивизиона. Потом он вдруг вздохнул и добавил:

— Тепло здесь у вас, уходить неохота...—Но он тут же крепко затянул свой пояс поверх шинели и, нахлобучив мохнатенькую дымно-серую шапку-ушанку (такие шапки повсюду лежали в землянке), ушел, впусив в блиндаж струю сырого воздуха, напомнившего Дементьеву сегодняшнюю ночь... Но все хорошо. Вот он уже на месте, ему сразу посчастливилось попасть в самый центр событий. Из-за досчатой перегородки слышен звук пишущей машинки, и молодой, но чрезвычайно назидательный голос диктует: «Дефиле между высотами В и Д также простреливается пулеметами...». Майор Воловик кричал в телефон и в такт своим словам торжественно махал рукой, и политрук Дементьев завороченно глядя, как по досчатому потолку летает тень его руки, вдруг вспомнил: «Артил-

лерия—бог войны». Что-то чудесное было в этом большеруком, долговязом, с большим горбатым носом, яростными и добрыми глазами, майоре Воловике.

— «Вихрь!» «Вихрь!» «Вихрь!»—кричал Воловик.—Ты слышишь меня, «Вихрь!». Шли письма по новому адресу. Марки? Марки клейте те же...

Дементьев вдруг вспомнил еще в начале сентября полученное последнее августовское письмо сестры Шуры из Днепропетровска—не нужно об этом думать... Сестра Шура — это боль. Маленькие Сережа и Вова—это тоже боль. И Днепропетровск—нет не нужно об этом.

— Ну-ка, товарищ политрук, шагайте-ка сюда. Что, размо-рило? Уснули?

Дементьев не сразу отнес к себе этот окрик. Но, очнувшись, понял, что, правда, вздремнул, во сне видел все то же, что происходило наяву, но как-то чудеснее. Он вскочил, обдергивая на себе потеплевший, но еще не вполне высохший ватник, оправил ремни, шагнул и очутился у стола. Командир и комиссар полка оба взглянули на него и переглянулись между собой. Дементьев вдруг понял эту быструю переглядку: они жалели его, как люди постарше жалеют молодых. Но это были начальники, и он, вытянувшись, стоял перед ними.

Что-то настороженное и гордое, оленье было в его большеглазом, опущенном мягким волосом, лице. Рот маленький, твердый, нос с горбинкой, крупно-кудрявые русые волосы. На левом плече, на ремне автомат необычного вида—немецкий.

— Садитесь, товарищ политрук,—сказал командир,—рассказывайте-ка о себе. Вы давно в армии?

— С 1939,—ответил Дементьев,—остался на сверхсрочную и был командирован...

— В военных действиях участвовал?—перебил комиссар.

— Первый раз этим летом. Я кончил весной военно-политическую школу и получил назначение—принял роту. Наша дивизия в начале сентября пришла на западный фронт, была в боях и попала в окружение.

— Покажи партбилет,—коротко приказал комиссар.

От торопливого волнения Дементьев завозился с пуговицей. Командир укоризненно покачал головой, точно не одобряя действий комиссара. Дементьев подумал о командире с благодарностью. Но против придирчивой настороженности комиссара тоже нельзя было возражать...

Комиссар посмотрел партбилет.

— Молодец,—сказал он,—возвращая партбилет Дементьеву,—даже партийный взнос успел уплатить.

— А побриться не успел, усмехнулся командир,—или, может, ты нарочно, чтобы постарше выглядеть?

Дементьев улыбнулся, но ничего не ответил. Серые, внимательные и добрые глаза командира и темно-зеленые, озороватые глаза комиссара оглядывали его, и Дементьеву вдруг захотелось сказать: «Меня Гриша зовут»... «Вот еще, глупость какая лезет в голову»,—рассердился он на себя.

— Много вас вышло?—спросил командир.

— Нет, мы с товарищем вдвоем.

— Как же ты отбился?—спросил опять командир.

— Я не отбился, у нас был приказ разойтись маленькими группами.

— Приказ?—насмешливо протянул комиссар.—А кто его вам отдал? Уж не немцы ли?

— У нас командира дивизии убили, приказ отдал его заместитель.

— А сам-то он вышел из окружения этот заместитель? —насмешливо спрашивал комиссар.

— Не знаю.

— Разбегаются в разные стороны, а потом пропадают по одиночке,—сказал комиссар, ни к кому не обращаясь, и никто ему не ответил. Но по тому, как щурился командир, Дементьев подумал, что он наверное согласен с комиссаром. Да ведь и сам он, скитаясь чужаком по родной земле в этом проклятом окружении, сколько раз думал о том, что не надо было расходиться. Шли бы вместе, вместе бы и пробились...

\* \* \*

— «Буря»... «Буря»... «Буря»...—настойчиво звал связист.

Майор Воловик, который выходил из землянки и сейчас вернулся, нахмуренный стоял около связиста.

— «Буря» молчит,—сказал связист, виновато моргая покрасневшими, воспаленными веками.—«Смерч» отозвался «Вихрь» отозвался, а «Буря» молчит.

— Надо к «Буре» послать разведку,—сказал Воловик, обращаясь к командиру и комиссару.—Я сейчас был на воле. «Смерч» и «Вихрь» гремят во-всю, а «Буря» бьет как-то неравномерно, оттуда слышна перестрелка.

— Что же, пошлем разведку,—сказал командир. Но в этот момент в землянку вбежал молоденький младший лейтенант. У него были по-детски пухлые со свекольно багровым румянцем щеки.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору,—отчаянно крикнул он. И только полковник кивнул головой, как младший лейтенант, с усилием двигая бледно-золотистыми бровями, прокричал: «Товарищ майор, на вторую ба-

тарю напали фашистские автоматчики. Батарея отбивается прямой наводкой...

Свирепо выругавшись, Воловик сначала схватил из рук телефониста трубку, но тут же отбросил ее и другой рукой схватил из угла коротенький автомат ППШ. Все это он проделал не сходя с места, его длинные руки доставали повсюду. Он уже ринулся к выходу, но командир стрелкового полка схватил его под локоть и, привлекая к себе, сказал:

— Артиллерия, больше спокойствия. Слово имеет пехота. Петруша!

Старший лейтенант, всклокоченный и кудрявый, выглянул из-за досчатой перегородки. Пишущая машинка прекратила стрекот...

— Петруша, Закоморный принял новую роту?

— Принять-то он принял, товарищ полковник. Но в ней некомплект, я задержал отправку.

— Придется тебя за это похвалить. Она здесь, рядом, в третьем блиндаже?

— Точно,—ответил Петруша.—Мы когда блиндаж тот брали, так повредили его («Значит, здесь немцы были»,—сразу понял Дементьев). Но это пополнение — оказались ребята хозяйственные,—продолжал оживленно Петруша.

— Закоморный с ними?—хмурясь на многословие своего адъютанта, спросил полковник.

— Точно.

— Позвать сюда.

— Приказано позвать сюда.

Петруша исчез.

— Когда пехота рядом, артиллерия может спать спокойно...

— Уснешь тут, чорта с два,—яростно сказал Воловик.

Петруша вернулся, следом за ним шел молодой командир такой крупный, что сразу заполнил собой весь блиндаж. На его продолговатом лице было открытое выражение силы и грозной отваги.

— Лейтенант Закоморный, нужно выручать артиллеристов, третью батарею второго дивизиона. Вот младший лейтенант..

— Птушко,—подсказал тот свекольно-багровый младший лейтенант, который принес плохую весть об артиллеристах.

— Так вот, младший лейтенант Птушко расскажет вам обстановку.

— Товарищ старший батальонный комиссар!—взволнованно начал Дементьев, но увидел, что комиссар сам хочет что-то сказать ему, и с выражением просьбы на лице замолчал. Комиссар засмеялся.

— Значит, судьба,—сказал он, обращаясь к Закоморному.—Вот это будет политрук вашей роты. Любите друг друга.

живите в мире и согласии. Вы об этом хотели просить меня, товарищ Дементьев?

— Об этом,—ответил Дементьев.

Они вместе вышли из землянки.

## II.

После керосинового чада и неравномерного жара железной печурки, после едкого, багрово-дымного, неестественного освещения землянки просторным и светло-пригожим было это ненастное осеннее утро, заполненное грохотом канонады. Выстрелы вспыхивали то ближе, то дальше, и все время слышалось, как, сотрясая воздух, стремительно летят грозные тяжести снарядов... Этот гул, накапывающийся волнами, этот треск разрывов, которые следовали один за другим, торопливо нагоняя друг друга и порой сливаясь вместе,—только это и происходило в мире. Перед этим все видимое точно оцепенело: пасмурные осенние холмы, кое-где испещренные снегом, перелески и бурые жнивья. С левой руки ряды темных домиков, за ними высокие, голые деревья... «Наверное, там парк был»,—подумал Дементьев, как будто сейчас, когда там немцы, нельзя сказать о том, что там парк. А за деревьями и сквозь них видны были большие кирпичные красные здания текстильной фабрики.

На востоке, в далеких оренбургских степях, комсомолец Гриша Дементьев (ему казалось, что это было давно, а это было всего пять лет назад) изучал историю партии, и даже самое название этой фабрики было для него священно. Здесь начались первые забастовки, здесь возникло то богатырское движение русских рабочих, мощь которого Гриша с гордостью ощущал в себе... И прибыть к этому священному месту, чтобы знать—здесь фашисты. Но ведь они также в Новгороде, там, где завязывалась древняя Русь, и в Киеве, где она расцвела, они грязнят ту дорогую орловскую землю, где охотился Тургенев и где он вел драгоценные свои «Записки». Немцы в Ясной Поляне, и они там, где родился Пушкин. Пушкин!.. «Мы им покажем, что не случайно гений русского народа носил артиллерийскую фамилию! И чего мы медлим?»—тревожился Дементьев.

Он стоял на пороге землянки, врытой в бок оврага. Это была очень вместительная землянка, в ней набилось так много людей, что только комиссар полка и командир роты смогли туда втиснуться. Дементьеву места уже не нашлось. Он остался стоять на пороге и вглядывался в глубь землянки: сосредоточенные лица выступали из темноты.

Это были люди, которых за минуту до этого он не знал,

а сейчас не было у него на свете ближе этих людей, товарищей, с которыми он вместе пойдет в бой. Кто они? Что они? Он готов был каждого любить, за каждого отдать свою жизнь, но кто они? В той роте, которую Дементьев два месяца готовил к будущим боям, знал он каждого человека, в семью каждого бойца он мог бы явиться, как свой,—так знал он жизненные дела каждого. Но едва начался бой, как у него сначала забрали один взвод, потом другой. Потом то, что осталось от его роты, влилось в другую роту, где был убит политрук. Как только Дементьев принял эту новую роту, обнаружилось, что в тыл их дивизии зашла немецкая танковая дивизия, и был передан приказ расходиться группами, приказ, которому он тогда так неохотно подчинился.

И вот ему нужно все начинать сначала. Накануне боя получает он этих людей, среди которых (у него был уже горький опыт войны!) могли быть и отдельные трусы. Хоть бы немножечко познакомиться! Но нельзя. Артиллеристы отбиваются от немцев, решается судьба сражения. «Когда же он кончит?» — волновался Гриша Дементьев, слушая, как комиссар раздельно («точно в школе на уроке», — сердился Гриша), — объяснял:

— Немцу стало жарко от работы нашей артиллерии, и он произвел нападение на батарею. Нужно выручить артиллеристов, товарищи! Командира вы знаете, а политрук ваш—товарищ Дементьев Григорий Григорьевич,—комиссар, не оглядываясь, повел рукой на Дементьева.—Он молодой, но уже испытанный боевой товарищ. С таким не пропадете. Но, если кто струсит, тому пощады не будет, — отчетливо договаривал комиссар мысли самого Дементьева.—От трусости до измены нет даже шага. Тот, кто уклоняется от боя, тот ослабляет силу всей роты, а это и есть измена. Труса уничтожать, как врага. Но уверен, что трусов среди вас не окажется.

Комиссар кончил. Закоморный скомандовал. Рота стала выходить из землянки. Дементьев оглядывал людей. Он заметил, что в составе роты немало людей пожилых, и сказал об этом комиссару.

— С этими людьми ты не пропадешь. Это москвичи-добровольцы,—и неожиданная теплая нота появилась в трезво-насмешливом голосе Язева. Мимо них проходил круглолицый, крупный человек. Он из-под каски оглядел их обоих ярко-кариыми, внимательными и смеющимися глазами и поздоровался. Комиссар задержал его, ухватив за рукав.

— Вот, товарищ политрук, это знаешь, какой товарищ... Это золотой товарищ,—с той же теплотой говорил комиссар.—Завод имени Латышова, может, слышал? С начала войны на заводе только одни девушки остались. Ползавода пошло и

ополчение. Оказались они в тылу у немцев, однако не сробели, дрались, напали на немецкий штаб, притащили трофеи. В твоей роте их пятнадцать человек. Шестерых мы поставили на отделения, а товарища Ивашина назначили помощником командира взвода. Присвоим звание старшего сержанта,—говорил комиссар, одновременно и шутливо и значительно. — Товарищ Ивашин воевал в империалистическую войну, он московский красногвардеец и старый коммунист...

— Який старый... ленинского призыву,—перебил Ивашин, недовольно двинув густо разросшимися, очень черными бровями. Потом вдруг весело мигнул Дементьеву, приложив руку к козырьку, и побежал вперед, обгоняя вереницу людей и стараясь твердо ступать по скользкой тропинке своими очень большими сапогами.

Сейчас совсем по-иному глядел Дементьев на этих людей. В их лицах он видел сдерживаемое оживление, трепет почти неуловимый, но выразительный. Все они были одеты однообразно, в шинелях и зеленых касках, но что-то вольное, волонтерское видел он в том, как держат они винтовки, в том, как шагают они...

Командир полка в шинели, накинута на плечи, вышел из землянки, и сразу перед ним вытянулся раздумавшийся Закоморный.

— Разведку выслал?—спросил он Закоморного.

— Выслана, товарищ полковник, и вперед и по бокам—во все стороны.—Закоморный показывал по карте, командир полка одобрительно кивал головой и доставал из порыжевшего футляра бинокль. Неторопливая спорость движений его крупных пальцев вдруг как-то разом успокоила Дементьева... К тому же на гимнастерке полковника заметил он беленький кружок медали «XX лет РККА». И то, что Дементьеву ранее казалось медлительностью, сейчас обернулось совсем по-другому. Это была обстоятельность человека, уверенного в своем деле: как определенны все указания, которыми полковник перебивал Закоморного! Похоже, что он видел каждый поворот лесной тропинки, каждую лесную поляну.

— Первые два взвода поведу я сам, третий будет в резерве...—сказал Закоморный и обратился к Дементьеву:

— Хорошо бы вам, товарищ политрук, находиться именно при третьем взводе...

— Нет, я не пойду в резерве,—вспыхнув, сказал Дементьев,—мы вместе пойдем вперед.

Командир полка, отведя бинокль от глаз, удивленно взглянул на Дементьева.

— Э-э-э—морщась и мотая головой, словно слыша неверную ноту, закричал Язев.—Не то говоришь, товарищ полит-

рук. Спорить тут не о чем. Обязательно пойдешь позади, и в случае, если кто будет отставать, вразумишь, объяснишь или заставишь. Понятно?

— Понятно, товарищ комиссар, — вздохнув, ответил Дементьев.

Они быстро шли по скользкой, обхоженной тропе вслед за вереницей бойцов. Из-за гула артиллерии выступила знакомая Дементьеву трескотня немецких автоматических ружей. Немцы! Это была ненависть, но совсем не та ненависть, которую не случайно называют то «кипящей», то «бурливой». Это была ненависть, ставшая привычкой, ненависть холодная, хладнокровная, ненависть, обостряющая все душевные силы—внимание, наблюдательность, сообразительность,—дисциплинированная ненависть, которая рождается в боях и для боев необходима...

— Мы с командирами и политработниками о храбрости даже и не разговариваем...—продолжал комиссар.—Чего там храбрость—у нас Москва за спиной. Но мы у тебя сверх всякой храбрости требуем другого: вот мы дали тебе роту, и ты ведешь ее в первый бой, так сумей же сплотить ее воедино, сплести неразрывно. Превратить в единый боевой организм. Понял задачу?—настойчиво спрашивал Язев.

— Понял, товарищ старший батальонный комиссар,—сдержанно сказал Дементьев. Как было ему не понять, почему Язев привел в пример старика Ивашина и чему сейчас так настойчиво учил его... «Ладно, я на деле тебе докажу»,—с обидой подумал Дементьев. Конечно, он не станет о себе рассказывать, а было о чем рассказать. Хотя бы о том, как добыл он немецкий автомат. Можно было бы рассказать и о тех восемнадцати отметинах, которые сделаны ножом на пояском ремне. За каждой отметиной перечеркнутая жизнь фашиста. Но это—только для себя, для своей гордости... И, может быть, для той, что полюбит его. «Что это за отметки на ремне у тебя?»—спросит она. И он расскажет. Будет тогда тишина, будут цвести кругом лиловые и белые, до кружения головы душистые, большие кавказские цветы... И рука ее будет на его плече...

— Слушай, товарищ политрук, а шинели у тебя нет?

— Не успел получить, товарищ старший батальонный комиссар.

И молодая мечта Дементьева исчезла, забылась: канонада, непрестанно колеблющая воздух, близкий треск перестрелки, люди, вереницей идущие по тропинке,—его рота, его люди, его забота...

Когда обед нам привезут?—спросил Дементьев.

— Ах ты чорт,—сказал комиссар, нахмурился,—правильный

вопрос... Но можешь быть спокоен, придем на батарею. Ты молодец, что вспомнил.—И Язев крепко пожал ему руку.

— Не горячись, без нужды не выскакивай. Помни: жизнь— последний козырь. Бросай его на этот стол...—Язев показал на широкие бурые поля вокруг,—тогда, когда видишь, что цейной этого козыря покупается действительный выигрыш в ходе сражения...—И Язев сделал такое лихо-озорное движение рукой, что было ясно: в карты играть ему приходилось...

— Да чего там говорить! Я уверен, ты будешь достоин наименования гвардейца,—сказал он значительно и непонятно и ушел.

Гвардеец? Что это значит, гвардеец?—думал Дементьев.— Да что бы не значило! Я понял чего он от меня добивается!

Первый взвод дошел уже до опушки леса, который точно поглощал людей (они может быть передвигались дальше ползком или прятались в кустарниках?). Но стрельба там стала учащенной, торопливой, и среди монотонно-злых ненавистных звуков немецких автоматов сильнее стали слышны короткие и четкие очереди наших автоматических ружей, казавшиеся Дементьеву особенно веселыми и бодрыми. Там начиналось то самое главное, для чего их послали.

Дементьев глядел вслед своей быстро идущей вперед роте. Он видел спины, хлястики шинелей, и вид этих спин пробудил у него чувство опасности: точно что-то грозило всем этим людям. И вдруг чутье, выработавшееся на всем кровавом опыте этой войны, подсказало Дементьеву, что нужно сделать. Он ускорял шаг, обгоняя бойцов. Он спрашивал, где командир взвода, и, обгоняя его, вперед передавали по цепи: «Командира взвода к политруку».

Командир взвода, очень тонокый, высокий и несколько гнувшийся, как это бывает с людьми подобного сложения, поджидал уже Дементьева, и его курносое, бледное лицо улыбалось ласково и заинтересованно. Они поздоровались и назвались друг другу. Засыпкин Александр Ильич—звали командира взвода.

— Я поговорить с вами хочу, товарищ младший лейтенант,—сказал Дементьев.—Наши пошли уже в бой. Не лучше ли будет взводу остановиться здесь и прикрывать тыл... Ведь кто их знает, могут танки выскочить.

— Это точно,—хмурясь и, в задумчивости покачиваясь, сказал Засыпкин.—Точно,—добавил он оживленно.

— Взвод, стой!—отрывисто командовал он. Он подал одну за другой несколько команд, и бойцы стали окапываться. Кто опустившись на колени, кто присев на корточки. Своими маленькими шанцевыми лопатками тревожили они холодную, спящую землю. Далеко и близко вокруг гудел бой, и это под-

гоняло людей, придавало их движениям лихорадочную поспешность.

Засыпкин, который ненадолго уходил, снова вернулся.

— Вот, товарищ политрук,—сказал он возбужденно и весело,—по этой стороне оврага пройдет рубеж моего взвода. Когда наши погонят немца, он будет бежать этим оврагом. Я ставлю здесь два наших пулемета, и мы всех их здесь уложим..

— Воздух, воздух!—протяжно крикнул кто-то, и, подняв голову, Дементьев увидел проступающие сквозь низкий, ненастный туман, на высоте не менее 500 метров, быстро летящие черные самолеты. Пулеметные очереди гулко стучали оттуда.

— Огонь! Огонь по фашистским стервятникам! — крикнул Дементьев. Сразу же с земли рявкнул грохот залпа, и Дементьев обрадовался: залп сам собой получился дружный. Самолеты промчались в сторону леса, и тут же из-за леса, совсем близко, с лопающимся звуком ударили зенитки: одна, другая...

— Падает, падает,—оживленно наперебой кричали из цепи. Один самолет действительно накренился, полетел как-то вкось и скрылся за деревьями... Другие самолеты вдруг исчезли. Их гуденье, зудящее, как кровь в ушах при лихорадке, еще слышалось, но оно становилось все глуше: самолеты поднялись над низкой облачной пеленой.

Зенитки продолжали бить, и Дементьев видел, как люди его роты по один, то другой на несколько секунд переставали окапываться и вопросительно, весело и нетерпеливо взглядывали вверх: ждали падения еще одного вражеского самолета. Наивность этих взглядов порождала у Дементьева заботливую тревогу...

— Что-то они еще готовят,—вырвалось у него.

— Пускай готовят,—задорно ответил Засыпкин,—мы тоже подготовились. У меня бутылки и противотанковые гранаты еще с вечера припасены. Сержант есть у нас молоденький, подобрал отделение истребителей танков—все комсомольцы. А этот сержант—это мальчик ежик, товарищ политрук..

— Значит, займись, а я пойду туда,—показал Дементьев в сторону леса, где перестрелка все усиливалась.

Он быстро шел вдоль по цепи, люди молча взглядывали на него и продолжали торопливо окапываться. Не все делали это одинаково. Видно, что некоторым лопата была в новинку. Дементьев любил каждого из этих людей, так внимательно, то строго, то весело взглядывавших на него. Он поговорил бы с каждым, но говорить было некогда.

Один коротенький человек совсем не умел окапываться. Он очень старался, но лопаточка у него то и дело срывалась. И еще очень встревожило Дементьева то, что этот коротышка

вздрагивал при каждом близком орудийном выстреле. А так как они раздавались все время, то получалось, что бедняга непрерывно дрожал всем телом. В таком состоянии и копать трудно, но воевать совсем нельзя:

— Как ваша фамилия?—спросил Дементьев.

Светло-голубые глаза страдальчески поднялись на него. Узнав политрука, коротышка торопливо вскочил..

— Новодережкин Василий Васильевич,—ответил он торопливо.

— Вы первый раз в строю? —спросил Дементьев, обдергивая складки шинели, сбившейся на животе Новодережкина. Из-за этих складок шинель выглядела на нем, как юбка на животе неряшливой женщины.

— Да, товарищ политрук,—с готовностью ответил Новодережкин и тут же вздрогнул при близком пушечном выстреле. Покраснев, он виновато-жалобно поглядел на Дементьева. У Новодережкина было мягкое лицо, с толстоватым носом и маленьким подбородком.

— Когда я первый раз попал в бой, мне казалось, что весь этот грохот направлен прямо на меня,—сказал Дементьев.

— Вы думаете, я боюсь?—покраснев до того, что слезы застлали его голубые глаза, спросил Новодережкин, самолюбиво оглядываясь: оказывается, к их разговору прислушались соседи...

— Я пошел добровольцем.

— Дело не в том, Василий Васильевич, боитесь вы или нет,—сказал Дементьев успокоительно,—все дело в том, чтобы не побежать в первом бою, а потом—героем станете..

— Вы, товарищ политрук, умница,—горячо перебил его Новодережкин,—то-есть вы простите, что я так к вам обращаюсь, но я действительно штатский человек.. Ух, как она грохнула!—сказал он, вздрогнув и коротко отмахнувшись своей круглой, багрово-красной рукой.—Но вы угадали: я боюсь, но разве я могу побежать?.. Ух, как опять ударила!

— Да это наша пушка ударила,—засмеялся Дементьев.

— В отношении войны—я неграмотный,—сокрушенно бормотнул Новодережкин.

— Ничего, обтерпешься!—сказал вдруг сосед Новодережкина, молодой, со впалыми щеками и светлыми упрямыми глазами. И Дементьеву было приятно, что к Новодережкину хорошо относятся, как будто стал ему близок этот смешной, коротенький человек...

— Вы военное обучение проходили?—заботливо спросил Дементьев.

Новодережкин, видимо колеблясь, помолчал, испытующе взглянул на него...

— Не совсем,—сказал он, снижая голос.

— Как же вы сюда попали?

Новодережкин еще подумал и сказал кряхтящим шопотом: — Я сам написал удостоверение от месткома училища, где преподаю, — он быстро взглянул в нахмуренное лицо Дементьева и вздохнул.

— Что мне делать с вами? Не знаю!—с досадой сказал Дементьев.

Новодережкин с отчаянием развел руками.

— Да ладно, ройте пока,—сказал Дементьев.

— Имейте в виду, товарищ политрук, я обратно не поеду,— крикнул вдруг Новодережкин. Увидев, что Дементьев неодобрительно хмурится, Новодережкин прервал сам себя.—И зачем я сказал об этом, вот характер дурацкий!—Он горестно махнул рукой и стал рыть землю свирепо и бестолково. Худощавый сосед сочувственно поглядел на него и многозначительно мигнул Дементьеву...

Все поведение Новодережкина, его манера держаться в корне противоречили не только уставу, но и тому обычаю военной службы, который за годы пребывания в армии стал привычен и мил Дементьеву. Этого чудака уже следовало посадить на гауптвахту за неумение разговаривать с начальником, а может быть отдать под суд Военного трибунала за легкомысленное обращение с военными документами. Но в то же время о нем хотелось заботиться. Конечно, он вздрагивал при каждом выстреле—и все-таки пошел на фронт в самые тяжелые дни. Ну, а как же быть с документом, который он сам себе написал? «Ладно, после разберусь»,—сказал себе Дементьев. Но вместо того, чтобы продолжать свой путь в сторону леса, он вернулся обратно к Засыпкину, который о чем-то оживленно беседовал со скуластым старшим сержантом. В щетинке, скудно пробившейся на щеках и подбородке старшего сержанта, проступала проседь, но глаза были молодые и веселые.

— Касымов Касым,—с едва заметным твердым татарским акцентом сказал он.

— Вот какое дело, друзья. У нас кое-кто окапывается плохо...—почему-то смущаясь, говорил Дементьев. Особенно один товарищ. При этом партийный...

— Новодережкин?—насмешливо-ласково по отношению к Новодережкину спросил Касымов.—Чудачок! Он ночью советовался со мной...—Касымов круто остановился, и Дементьев сразу понял, о чем у них ночью шла речь. Конечно, об истории с документом.

— Иди, товарищ политрук, спокойно. Меня вчера старши-

ной роты назначили, так я уж возьму над ним шефство, — сказал Касымов.

Дементьев быстро шел в сторону леса. Из лесу одна за другой со свистом, вкрадчивым и ленивым, пролетали пули, и Дементьев сразу забыл о Новодережке.

Сначала он шел пригнувшись. Но это мешало ему двигаться быстро. К тому же пули летели над самой землей, пригнувшись, он скорее мог получить тяжелую рану. Он выпрямился и во всю силу своих резвых ног побежал по осеннему побуревшему жнивью.

Он добежал до леса и сразу упал в кустарник: из лесу слышны были противно-чуждые голоса, все приближающиеся. Немцы! Вот они! И не в зеленых шинелях, как он ожидал, а в черных куртках («ээсовцы! фашисты!»). Они мелькали между деревьями, то показываясь, то исчезая.

— Обратно, обратно! Слышите вы, швайхунде, — кричал коренастый немец. Он крутился на месте, угрожающе поводя вокруг себя автоматом, и Дементьев близко видел его густые черные брови и одутловатое лицо. Он подпрыгивал на своих коротких ногах, обутом в наши («наши!») сапоги. Как сквозь неизмеримо далекое и чуждое пространство доносились слова, которые Дементьев понимал, так как еще до войны изучал немецкий язык. Как грязно ругал своих солдат этот коренастый, весь точно налитый злой силой, подпрыгивающий на месте офицерский чин: «Собачьи свиньи! Висельники! Приплод обезьяны!». И тут же, не переводя дыхания, вдруг стал он мурлыкать об отечестве и о возлюбленных, оставленных дома. И снова сменил это мурлыканье, слащавое и слезливое, на угрозы пристрелить каждого, кто сделает хоть шаг назад...

А кругом стояли спокойные, темные русские ели.

Офицер добился своего. Черные куртки стали возвращаться в глубь леса. Токот немецких автоматов уплотнился. — Обер-ефрейтор Шпигельбах! Ко мне! — крикнул офицер. Щупленький, с рыжими бачками, франтоватый молодчик подскочил к офицеру. Вытянувшись, он пучил на него свои белесые глаза. — На мне ничего не нарисовано, мальчик! — со смешком сказал офицер, дружески ударяя обер-ефрейтора по руке, поднесенной к козырьку, и опуская ее. — Смотрите-ка сюда... — Он показывал обер-ефрейтору что-то, чего Дементьев не видел и что, очевидно, было картой. — Возьмите всех своих и еще отделение бедняги Вальтера. Пройдите-ка вот сюда и сюда. — Офицер рассказывал обстоятельно, но Гриша многого не понимал, это были топографические термины, пересыпанные цифрами... Отсюда и подойдете к их батарее. Внезапно... К этой чертовой батарее, и мы заткнем ее проклятую глотку! Нет, откуда только

ко у этих свиней такая дьявольская меткость и столько драчливости!—воскликнул он бешено, и, как трещина в металле, трещина очень тонкая и несомненная, звучал в этом бешенстве страх,.. «Силу— всю нашу силу на их силу...»—бессвязно, но ярко думал Гриша, крепко сжимая свой уже взведенный автомат. Одна из тех случайностей, которые стали особенностью этой страшной войны, открыла перед ним незащищенный тыл противника и дала ему крупнейшее преимущество. В руках его немецкий автомат. Это тоже преимущество. Нужно дождаться момента и эти преимущества использовать. И Гриша лежал, весь прикинувшись к влажно-холодной земле.

Щупленький обер-ефрейтор Шпигельбаух, прихрамывая, пробежал туда, где между деревьев чернели куртки эсэсовцев. Он мгновенно, и по оценке Гриши очень толково, отделил некоторое количество немцев и повел их в сторону. Наведя свой автомат на просвет между деревьями, в котором должна была показаться вся группа Шпигельбауха, Дементьев ждал. Вот они: первый немец, второй, еще два и сразу кучей. Дементьев нажал курок. Мерный и злой токот его автомата влился в общий ровный гул немецкой стрельбы. Поводя этим вздрагивающим, послушным, точно превратившимся в часть его существа, оружием, Гриша продолжал свой грозный счет, но скоро сбился. Одни немцы падали, другие бегали, кричали бляющими голосами, махали руками. Они не понимали, кто и откуда бьет по ним. Они боялись—это все сильнее звучала трещина.. Но ведя стрельбу, Гриша не прекращал следить за главным врагом—за офицером, который был обозлен, удивлен, но отнюдь не растерян..

Он оглядывался, и вдруг Гриша встретил взгляд этих враждебных ненавистных глаз... Офицер рванулся, но Гриша держал его уже под прицелом. Три быстрых выстрела,—рявкнув и в последний раз подпрыгнув, офицер упал. Гриша быстро подполз к нему. Всхлипы, захлебывания, судорожные движения рук и ног, еще крепких, но уже освободившихся от власти погасающего мозга.. Вырвав пистолет из рук офицера, еще горячих, Дементьев вскочил, пробежал несколько шагов в сторону цепи черных курток, видных ему со спин. На глаза ему попался хороший бугорок с камнем, выступившим из-под земли. Гриша упал за камень и стал укладываться, обминаться, чтобы удобнее было снова открыть огонь по черным курткам.

На него вдруг упала шишка... Вторая, третья. Нет, они не падали, кто-то швырялся ими. Дементьев оглянулся. Из-за близкого дерева улыбался ему какой-то свой, в шинели и каске. Мгновение—и этот парень ужом прополз к Грише между пней и кустов.

— Я с дерева на дерево скакал, разведку вел, товарищ политрук,—шептал он торопливо.—Вдруг вижу, кто-то по ним из их же автомата чешет... Откуда такое? Ну, и поглядел я на вашу чистую работу... Гарнесенько,—добавил он по-украински, хотя, судя поговору, он был русский... Толкнув Гришу, игриво в бок, он уполз, пропал между деревьями.

Это мгновенное свидание, эти родные слова среди беспорядочного и чужого немецкого гама—все это было неожиданным отдыхом.. Вздохнув облегченно и успокоенно, Гриша приладила стрелять. Вдруг совсем близко, откуда-то сбоку, откуда он совсем не ожидал, поднялась волна победоносного крика. Это было «ура», и тут все стало происходить очень быстро. Немцы отходили, продолжая отстреливаться... Они отходили в ту сторону, где залег Гриша, и, подпустив их на расстояние более выгодное, он опять открыл прицельный огонь по этим черным курткам, так что каждая короткая очередь его автомата валила на землю то трех, то четырех... Немцы оглядывались, встревоженно перекликались, они убыстряли свое отступление, они, видимо, были испуганы этим непонятным и страшным истреблением, которое в их ряды вносил Гришин автомат, звук которого был неотделим от звуков прочих немецких автоматов... К тому же ими никто не командовал, и они как-то сразу растерялись...

И Гришино существо наполнила радость, мстительная и блаженная. «Нате-ка, нате»,—шептал он, быстро меняя мстительные немецкие обоймы своего автомата... Скитания по лесам, обходы горящих, стонущих, воющих деревень, унижительные переползания через дороги, свои, советские шоссеиные дороги, которые уже охранялись немецкими патрулями...

Среди деревьев вдруг появились серые шинели. Раскрасневшиеся, с открытыми ртами лица, грозные и родные. Штыки, грозные штыки наперевес. Немцы теперь просто бежали прочь, и многие бросали автоматы и скидывали ранцы...

Их догоняли. Страшный хряск и смертный вой шел по лесу, их догоняли и закалывали... Гришу особенно поразил один из бойцов. Округлый и широкий в груди, он пробежал мимо Гриши. Только на секунду сверкнули из-под каски его серые, выкаченные глаза, нос был наморщен, белые зубы оскалены—да, Гриша чувствовал то же!.. Страшным и точным движением выбрасывал этот богатырь вперед свой штык... Приостановившись на секунду, ловко выдергивал его из стонущего, трящего себя тела врага и опять преследовал. Так заколол он одного немца, другого. Третий упал на колени, отбросил автомат и поднял руки. Богатырь пробежал мимо и не тронул немца, который тут же схватил свой автомат и направил его

вслед тому, кто оставил ему жизнь. Но тут набежал Гриша и разнес немцу череп тяжелым прикладом своего автомата..

— Здорово, товарищ политрук!

Дементьев увидел Закоморного. «Ура» продолжало греметь по лесу, и как бы из этой победоносной волны возник Закоморный. В руках его была самозарядка, ее штык, светлый и плоский, был окрашен неяркой розовой жидкостью, очевидно, кровью, смешавшеюся с водой...

От батареи мы их отогнали, — рассказывал Закоморный. — Теперь надо гнать, не давать зацепиться. Пройди, дорогой, по лесу, собери раненых, погляди, не отстал ли кто из наших, и всех шли вперед... А я туда...—он указал в ту сторону, где лес редел и куда уходила схватка, и размашистым бегом кинулся туда.

Дементьев, приходя в себя, оглянулся. Неподалеку увидел он застреленного им офицера и подошел к нему: его надо было обыскать. Вялая тяжесть этого тела, которое совсем недавно прыгало, налитое бешеной силой, поразила Дементьева. Документы—Гриша просмотрел их тут же: приказы, карты—это важно! На глянцевице чистых фотооткрытках запечатлено скучное немецкое похабство—изодрать!

Гриша успокаивался и мысленно перебирал все происшедшее... «И совсем не нужно было действовать прикладом, — думал Гриша, переводя дыхание и вытирая пот с лица, — опоздай я на секунду, и он убил бы нашего богатыря. У меня в руках был автомат, я мог просто пристрелить его». Но бить прикладом было куда приятнее, разряжалась энергия ненависти.

Вдруг все в мире содрогнулось. Это близко загрохотало орудие. И Гриша, точно его позвал кто-то, пошел в ту сторону, откуда слышен был этот грохот. Он увидел длинный, несколько необычно приподнятый кверху, хобот орудия, все тело которого было замаскировано разлапистыми ветвями ели, под которой оно стояло. Видно, что около этого орудия совсем недавно шла жестокая схватка. Люди здесь лежали вповалку, некоторые еще шевелились и стонали. Но появились женщины, которые казались маленькими в своих больших, мешковатых шинелях. Женщины раздвигали эти нагромождения тел и, то ли потому, что женщины, раздвигая мертвых, задевали раны живых, но стоны и жалобные проклятия усиливались. Это были совсем молодые девушки... Они осторожно помогали вставать, они ободряли, они говорили те ласковые, бессмысленно-нежные слова, которые сказали бы впервые своим возлюбленным или детям... С тенью смерти на осунувшихся лицах, тенью, тем более выразительной, что она лежала на лицах людей, которые еще, может быть, будут жить, в шинелях

лях, заляпанных шмотьями запекшейся крови, поднимались раненые и их уводили или уносили на носилках...

Но тут же рядом слышен был веселый смех... Дементьев увидел Закоморного. Ему жали руки, его дружески ударяли по плечам и по груди артиллеристы... Их лица были задымлены, у одного голова была перевязана, и сквозь марлю розоела кровь, но возбуждение и бодрое веселье исходило от них, точно не было рядом мертвых и раненых, точно беспорядочная стрельба и выкрики не доносились оттуда, куда ушла схватка.

А лес стоял спокойный, важный, и над ним плыло низкое белесое небо. День природы шел сам по себе, как всегда равнодушный к тому, что происходит у людей...

С досадой мотнув головой, отгоняя от себя эти, сейчас ненужные мысли, Дементьев пошел к девушкам-санитаркам, чтобы узнать о раненых своей роты. Вдруг:—Воздух, воздух!—закричали с поля. Дементьев кинулся туда... Самолеты, множество самолетов летело над деревьями, и снова близко ударили зенитки... Земля взревела и дрогнула, где-то близко упали бомбы. Дементьев увидел, что некоторые бойцы его роты залегшие по краю лощины, в которой скрылись немцы, совсем прекратили стрельбу, другие то вскакивали, то опять падали на землю и жались к ней, третьи беспорядочно метались, прыгали в кустарниках, а один очень рослый парень бросил винтовку... Немцы, загнанные в лощину, видимо, ободрялись, и треск их автоматов стал опять ожесточеннее.

Но среди рева и сотрясения взрывов попрежнему были слышны легкие, лопающиеся выстрелы зениток. Артиллеристы также добавили во все это свою долю грохота. Еще один снаряд по «навесной траектории» полетел в направлении неприятельских окопов.

— Возьми оружие, сейчас же подними винтовку,—угрожающе говорил Дементьев. Рослый парень жалобно оглянулся и с таким усилием, точно руки, ноги у него стали ватные, нагнулся и поднял винтовку. Командир взвода уже командовал: Огонь! Огонь!

Вдруг вверху в белесом сверкнуло голубое и еще что-то загремело по-новому. Рыжий огонь мелькнул между деревьями.

— Самолет упал! Наши второй самолет сбили!—крикнул Дементьев. Опять сверканье холодное и голубое, опять гром...—Третий...

— Ура, ура зенитчикам!—воодушевленно грохотало по цепи, которая стала опять обстреливать лощину, занятую немцами, и тут же два орудия, ближнее и дальнее, почти одновременно дали еще по выстрелу в направлении вражеских окопов

И Дементьев вдруг представил себе капитана Стахеева (как давно было сегодняшнее утро!), который откуда-то направляет всю сокрушительную работу артиллерии. Он подумал о зенитчиках, которые только что оборонили работу артиллеристов, и о своей роте, которая отогнала фашистских автоматчиков от орудий... И на мгновение все происходящее—стоны, крики, раны, кровь, смерть и эти, все сотрясающие, разнообразно-страшные гулы и грохоты, — все это слилось в одно, прекрасное и величественное, отчего сердцу в груди вдруг сделалось тесно. «Мы боремся, мы дружно боремся, и мы победим!»—так можно было бы выразить языком слов это чувство, но были эти слова слишком бледны в отношении того восторга, который испытывал Гриша.

А через секунду Гриша уже озабоченно думал о том, что нужно найти скорее Закоморного и сговориться с ним о дальнейших действиях... Но отзвук этого восторга продолжал храниться в его душе.

Когда Гриша опять подошел к артиллеристам, гудение вражеских самолетов уже затихло, зенитки замолчали. Артиллеристы говорили о том, что произошло.

— Ну, молодцы, зенитчики! Звездный налет отбили.

— Им не впервой...

— Большое испытание нервов. Ведь это жуткое дело — звездный налет. На тебя одновременно со всех сторон устремляется несколько самолетов. Бросают бомбы, бьют из пулеметов...—говорил выделявшийся книжным складом речи артиллерист—у него рука была вправлена в рубашку, и рукав болтался пустой.

— При звездном налете главное, что общей команды быть не может. Командиру каждого орудия приходится принимать самостоятельные решения и их осуществлять...—сказал младший лейтенант, высокий, со скуластым, непоколебимо спокойным и ласковым лицом. Все замолчали, слушая его. А он обернулся к Закоморному:

— Знаешь, Филя, подослал бы ты кого к зенитчикам, как они там?

— Я сам схожу,—ответил Закоморный.—Да, кстати, и лес прочешем. Может, кто из фрицев на парашоте спрыгнул.

— На место падения самолета сходить нужно,—добавил смуглый артиллерист с пустым рукавом.

— Вы останетесь при роте, товарищ политрук?—спросил Закоморный.

— Да,—ответил Дементьев, хотя ему самому очень хотелось пойти поглядеть на упавший самолет и принять участие в ловле фрицев. С завистью поглядел он вслед Закоморному, который в сопровождении нескольких бойцов быстро ушел в

глубь леса. Но Дементьев знал, что ему нужно находиться при роте, которую он за время этих, быстро одно за другим следовавших, событий привык уже считать своей. Он уже знал что-то об этих людях, и знал о них хорошее. Беспokoил Новоде-режкин и, конечно, следовало запомнить того, который бро-сил винтовку. Звездный налет многих ошеломил. Но фашисты от батареи все-таки отогнаны, задание командования выпол-няется. Нужно скорее связаться с КП полка и переслать ту-да документы немецкого офицера, потом, чтобы людей накорми-ли.

Командир орудия, тот самый рослый, скуластый младший лейтенант, который выделялся своей особенно подчеркнутой воинской выдержкой и спокойным и ласковым благообразием, проводил Дементьева в тесную землянку. Там у коптилки си-дел связист.—Я—«Буря»... Я—«Буря». Это «Елка?», «Елка»? Слушайте, «Елка», — певуче и монотонно, точно заклинание, выговаривал он. —КП нашего полка слушает, сказал он, под-няв на Дементьева устало-бледное мальчишеское лицо с маз-ком глины на щеке.—Вам кто нужен?—спросил он Дементье-ва, который взял уже трубку.—Если нужен командир, спроси-те директора, если нужен комиссар—спросите главного садов-ника.—Он зевнул и со вздохом облегчения свалился на зем-ляные, покрытые соломой нары, и тут же уснул. Дементьев узнал голос адъютанта Петруши и сразу перенесся в уютную землянку, где на столе расстелена карта.

— Ни директора, ни главного садовника нет. Кто говорит? —неприветливо отвечал Петруша.

— Я новый, я был у вас в конторе, — волнуясь, говорил Дементьев. Мне дано было поручение.

— Не понимаю,—сухо ответил Петруша.

— Ну и не понимайте,—рассердился Дементьев,—только передайте директору или главному садовнику: во-первых, по-ручение ваше мы выполняем и подробности письмом. Во-вто-рых, мне необходимо переслать вам кое-какие бумаги, а, в-тре-тьих, самое главное, обед.

— Обед отправлен, но в объезд...—совсем другим добрым голосом сказал Петруша. — Теперь я вас вспомнил, вы новый садовник на участке.

Точно!—развеселившись, сказал Дементьев.

Растолкав связиста, который спал, как мертвый, Дементьев выскочил из землянки. Ему нравилось, что комиссар—глав-ный садовник, а он—один из многих садовников этого боевого, грохочущего хозяйства... Улыбаясь и сам с собою говоря, Де-ментьев быстро шел к расположению первого и второго взво-дов, где продолжалась перестрелка с немцами, загнанными в ложбину. Третьего взвода, с которым он шел с утра, отсюда

не было видно. Но с той стороны то и дело слышались короткие, в два-три выстрела, очереди пулемета. Выход из ложбины для фашистов был закрыт. Фашисты то отвечали вяло, то вдруг, точно взбесившись, открывали сильный огонь, вели его несколько минут и опять затихали. Батареи Стахеева продолжали свою размеренно грохочущую работу. После каждого выстрела видны были взлетающие к небу столбы земли: да, то, о чем говорили в землянке на КП полка, упрямо осуществлялось.

Вдруг все исчезло для Дементьева. Ничего не осталось от его разгоряченного благодушия. В мире было только одно: слева, из-за холма, ломая изгороди, по грядкам огородов, быстро выползали огромные черные жуки... Это были немецкие танки. Вот так же во множестве появились они тогда в тылу их полка. Горечь неотомщенного унижения опять до верха заполнила душу Дементьева... «Не уйду!»—сказал он решительно. Только этому гордому чувству под силу было одолеть то унижение.

К нему подбежал Касымов...

— Танки, товарищ политрук, фашистские танки,—задышав, говорил он. Видно, танки ему были в новинку.

— Противотанковое отделение выделено?—холодно спросил Дементьев. Касымов смутился.

— Выделено, товарищ политрук, — быстро сказал он. — И позицию уже заняли. Зарылись. Взвод наш держится молодцом.

«Как же молодцом. Сам-то в панике прибежал»,—подумал Дементьев, но вслух сказал:

— Я пойду туда, ты останься здесь. Командир роты ушел. Найди командира первого взвода, пусть он примет команду.

— Нужно уничтожить автоматчиков, не дать им соединиться с танками.

— Будет исполнено, товарищ политрук.

Дементьев второй раз бежал через жнивье. Из танков его заметили, по нему сыпали пулеметными очередями. Он ложился, вскакивал и снова бежал: то, что сейчас происходило, грозило участи всего сражения, и Дементьев думал только об этом.

Он добежал до расположения третьего взвода. Здесь все было в порядке гораздо большем, чем он ожидал. В этих окопчиках, только отрытых, можно было лежать, и они были даже замаскированы дерном. Мелькнуло жалобное и заинтересованное лицо Новодережкина. «Не до него»,—подумал Дементьев. Засыпкин издали отчаянно махал Дементьеву и кричал:

— Ложись, ложись!

— Зачем, товарищ политрук, жизнью рискуешь,—укоризненно сказал Засыпкин, когда Дементьев добежал до него и лег рядом с ним. Не к чему было так торопиться. У нас здесь, как на Красной площади 7 ноября.

Он старался говорить спокойно, даже весело и шутливо, но струйка крови стекала у него с угла рта. Он сам не замечал, что до крови прокусил себе губу...

Шли средние танки, вооруженные каждый несколькими пулеметами и одной пушкой. Пушки били торопливо, точно захлебываясь злым грохотом, снаряды с визгом один за другим пролетали над цепью, тяжело и глухо шмякались в мокрую землю пустого сжатого поля. Одновременно с танков били пулеметными очередями. В цепи кто-то ахнул, вскочил и упал, кто-то жалобно крикнул: ай-ай-ай... Шмырева заберите, ранен! Петрунkevич убит.

— Они нас раздавят к чорту,—крикнул вдруг кто-то и столько страха было в этом крике, что Дементьева всего передернуло. Он видел, как вслед за этим криком зловещее содрогание прошло по цепи...

— Товарищи! Москва,—крикнул он звонко.—За нами Москва! Москва!—Он кричал так, как кричит мать, требующая спасенья своего ребенка. Кричал, ни о чем не помня. Да и среди грохота боя вряд ли было слышно, о чем он кричал. Но все поняли слово—Москва—и все видели его лицо. Кто-то схватил Дементьева за руку и с силой потянул вниз. Это был старик Ивашин.

Никто не побежит, товарищ политрук,—сказал он. — А если найдется трус, мы его тут же кончим.

Один из танков задымился, подпрыгнул, и язык голубого воющего пламени поднялся над ним...

— На мину налетел... Танки замешкались и стали боком обходить минное поле. Позади цепи появилась наша противотанковая батарея и грохоту еще прибавилось. За короткое время подбила она два танка: один стоял неподвижно и горел, другой, как изуродованное насекомое, крутился на месте.

Но передние четыре танка уже спускались по пологому краю лощины. С минуты на минуту должна была вступить в действие цепь наших истребителей. Дементьев вглядывался и никак не мог их разглядеть, хотя они были не более как в двадцати шагах. Забыв о пулях, которые продолжали свистеть вокруг, забыв о своей жизни и смерти, Дементьев и Засыпкин возбужденно переговаривались. Дементьеву ясна была та причина, которая вынудила немцев кинуться в эту танковую атаку. Они во что бы то ни стало хотели прорваться к батареям Стахеева, чтобы смять их и приостановить губительный огонь...

— Это навесная траектория действует, — горячо говорил Дементьев. Засыпкин, приоткрыв свой большой рот и подняв брови, как замороженный слушал его.

Но танки уже перебирались на эту сторону ложины, и Дементьев замолчал, напряженно вглядываясь: истребителей не было видно. Дементьев чувствовал, что настал тот момент, когда они должны были войти в общий ход сражения. Эти неизвестные ему парни-комсомольцы были сейчас все равно, что он сам. Ведь эта задача: не дать фашистским танкам помешать уничтожающей работе стахеевских батарей—это его задача, он должен выполнить ее...

— Я перейду к ним,—сказал Дементьев. Схватив связку противотанковых гранат и вплотную припадая к земле, он пополз по-пластунски, перебрасываясь с руки на руку и помогая себе ногами, вплотную прижатыми к земле...

Изредка для ориентировки поднимая голову, он никак не мог сосчитать, сколько всего танков участвует в нападении. Досчитывал до пятнадцати и сбивался... Во всяком случае, их не больше двадцати, и три уже выведены из строя. Передние пять были совсем близко. А еще ближе, в нескольких шагах от себя, Дементьев вдруг увидел возвышающиеся над землей зеленые каски. Это были истребители. Они сидели в ямках, открытых попарно...

Дементьев свистнул. К нему обернулось несколько молодых лиц. Только в детстве, во время мальчишеских игр видел он такие лица, страстно серьезные и увлеченные. Один с татарскими черными, длинно прорезанными глазами, улыбнулся Дементьеву, мигнул ему, вскочил, одним прыжком переметнулся прямо к переднему танку... Раздался оглушающий взрыв. Передняя часть танка поднялась и загорелась. «Погиб вместе с танком»,—подумал Дементьев о черноглазом, но тут же раздался второй взрыв, та же мальчишеская фигура, освещенная пламенем, снова поднялась с земли и тут же ушла под землю. Второй танк взорвался...

Мир состоял из грохота и серо-розового удушливого дыма. Три танка были уже подбиты... Фашистские танкисты, полуодетые (в танках было очень жарко), выскакивали одни с голыми плечами и руками, другие в нижних рубашках. У некоторых в руках были автоматы. Дементьев пристрелил двух... Фашисты выбежали из четвертого танка, хотя он был в целости. Гриша не верил своим глазам, но это было так. «Да, да, они нас боятся»,—с восторгом подумал он, подхватывая мысль, которая не раз волновала его в течение этого дня, днящегося и днящегося, точно целую жизнь...

У него уже горячо и мокро было на боку, и он знал, почему, но старался не думать об этом, чтобы не отвлекаться от той

мучительной и счастливой жизни, которая билась в нем вместе с биением его воспаленной крови. Его наблюдательность, его сообразительность обострились и, стреляя по танкистам, он одновременно видел все, что происходит вокруг и первый заметил, что еще одна группа немецких танков появилась сбоку, а на смену тем, которые были уже уничтожены, лезли еще шесть... Рядом с собой Гриша видел сейчас только четырех истребителей. Среди них был и тот первый смельчак с татарскими глазами. На его петлицах было два треугольника...

— Как зовут тебя?—спросил Дементьев, внимательно, чтобы навеки запомнить, вглядываясь в это молодое, румяно-смуглое лицо, отмеченное опасным, недавно зарубцевавшимся, но еще багровым шрамом. Шрам пересекал щеку и уходил под воротник...

— Аркадий Забалуев, товарищ политрук. А тебя как звать?

— Григорий Дементьев...

— Владлен Кассовский.

— Александр Гудзь.

— Дмитрий Фетисов.

Сбившись между черных бревен какого-то разрушенного строения, они наперебой, торопливо называли себя. Это были только фамилии, но каждому казалось, что они говорят друг другу и узнают друг о друге все, что можно было сказать словами.

Аркадий Забалуев держал в руках бутылку и зорко оглядывался. Танки приближались...

— Начинай, друзья!—крикнул Забалуев, и опять все было застлано дымом и чадом... На какие-то мельчайшие доли секунды Дементьев вдруг забывался, ему казалось, что происходит чудовищная игра в городки. Розовая от заката пыль, вздымающаяся по улице села, пыль жаркая, обжигающая, пыль вместе с дымом и удушливой тракторной вонью... Синее небо и слепящее солнце, беспредельные хлеба, урожай...

— Бей, ребята!

— Бей, ребята, фашистов!

Еще три танка горели, и еще шесть немецких танкистов пристрелил политрук Дементьев. Но вдруг тяжелый удар по голове повалил его... «Я живой»,—думал Гриша и отползал, но танк наползал на него. Гриша близко видел шершаво-жаркую броню, какую-то чужую, не русскую клепку, чужие рога-тые цифры и буквы... От танка веяло жаром и смертью. Вдруг раздался грохот, танк дрогнул и накренился на бок... «Мы бьем их»,—подумал Дементьев и перестал ползти, позволяя себе терять себя... «Мы бьем их, и значит все хюрошо».

Боль была последним его ощущением и она была первым, что он почувствовал, когда стал приходить в себя. Грудь теснило, дыхание было затруднено. «Я перевязан»,—догадался он. Попробовал разжать веки, тысячи искр заиграли в глазах. Они изнутри жгли голову... Он тронул ее и вместо волос ощутил марлю.

Вдруг его руку отвела рука, женская рука—и во всем воющем, рычащем, скрежещущем мире эта рука была тишиной, отдыхом и выздоровлением. Он задержал эту руку в своей, почувствовал, что в голове его становится яснее и вспомнил обо всем. «Где мой автомат»,—подумал он спокойно.

— Сестра,—сказал он хрипло.

— Что вы хотите, товарищ политрук?—спросила она.

— Где мой автомат?

— Здесь,—ответила она, не удивляясь. Не впервой ей было отвечать на этот вопрос, который раненые бойцы задавали почти в беспамятстве.

— Что происходит? Я не могу раскрыть глаз. Глазам больно... Где танки? Где Забалуев?—Она молча выслушала эти вопросы, отрывистые и невнятные, и ответила на самый главный:—Одиннадцать танков подбито, остальные отходят.

— Отходят!—воскликнул он. Она положила руку на его лоб и не дала ему поднять головы.

— Да, отходят. Мы стали их бить прямой наводкой. Мы—то-есть это зенитчики. Я при четвертой батарее. Вас притащили к нам на медпункт.

— А где Забалуев?—спросил Дементьев.

Среди красных вспышек, которые были у него под веками, он все время видел эти черные брови, эти длинно прорезанные глаза... Взмах руки, кудрявые, розово-серые облака дыма, ослепительные всплески пламени и среди всего этого тонкая в поясе, широкая в плечах фигура, прямая мальчишеская шея и броское, точно при игре в городки, движение руки, страшное движение руки, рождающее пламя, грохот и дым.

— Где Забалуев?—спросил он еще раз.

— А он кто?

— Комсомолец. Командир истребителей. Сержант...

Она помолчала.

— Не знаю,—ответила она и вздохнула.—У вас там большие потери. Мне рассказывали, что вас из-под немецкого танка вытащили... Вы отчаянный...—сказала она и опять вздохнула.

— Потери?—он сразу отпустил ее руку, опершись на локти, поднялся и с усилием открыл глаза: чувство вины заставило его подняться. Сквозь молнии, летевшие искрами из его глаз, ви-

дел он над собою прямые русые волосы, выбежавшие из-под пилотки со звездочкой, бледные, точно подпухшие, раскрытые губы, остренький подбородок и смешной остренький нос. Она старалась уложить его, осторожно прикасаясь к его плечам и к голове...

— Товарищ политрук, лежите спокойно и вы скорее поправитесь. Ну, послушайте меня, лягте. Я опасюсь, что у вас легкое сотрясение мозга, а оно проходит, если отлежаться... И вы поправитесь и скорей вернетесь в роту, где вы нужны...

Не с первым раненым имела она дело и знала, что нужно говорить этим смелым людям. Он послушался ее, лег, и ему сразу стало легче.

— Сестра, пошлите за командиром роты,—сказал он.

— Какой роты?

— Нашей, стрелковой...

— А как его фамилия?—спросила сестра.

— Фамилия...—И вдруг Дементьев почувствовал, что фамилии он не помнит. Он точно вьявь видел перед собой это чистое, грозное, ровно румяное лицо, но фамилии не мог вспомнить. Множество лиц представлялось ему... Это были лица людей его роты, но фамилий он не помнил. Аркадий Забалуев—это единственное, что осталось в его памяти, точно вырезано было перед глазами—и как раз его эта девушка не знает. Ничего она не знает, а ведь он, политрук, отвечает за все, за все... Забалуев, он, может, погиб?.. Нет, она не знает. Она только и может держать руку. Но это хорошо. Он снова потерял сознание, но сейчас это было совсем по-другому. Он заснул, но так внезапно и глубоко, что сестра, чтобы понять, дышит ли он, наклонилась к самому его лицу и ее губ коснулось слабое, но спокойное дыхание...

Он проснулся от того, что его пошевелили и сделали ему больно. Не очень больно и пошевелили его очень осторожно, но он все-таки проснулся... Голова не болела, лежать было мягко, тело отдыхало, и только ныл потревоженный бок.

— Тридцать шесть и семь,—сказал женский, милый, уже знакомый голос.

И не успел он сделать усилие и вспомнить, откуда знает он этот голос, как сразу же заговорило несколько человек.— Ну, видишь...—Я ж говорю, отлежится...—Конечно!—Никуда мы его не отдадим. Отдашь в санбат и обратно не получишь, дивизия велика! А у нас он отлежится...

Все эти голоса ему были знакомы. Здесь был командир, старшина, еще какие-то люди: он не помнил, откуда знает, но он знал их. Женский голос—это была сестра—возразил:

— Вот как вы рассуждаете... Это эгоизм. Разве можем мы предоставить ему настоящую медицинскую помощь?— Но

ее перебили.—Э-э, товарищ сестра, фальшиво говорите.—Сами сказали, поставим температуру, а температура нормальная. Насчет эгоизма это уж, простите меня, ерунда. Именно не о себе забота, а о пользе дела. Это говорил Закоморный—напористо и настойчиво.—Рота новая, нужен боевой политрук. Именно такой. Вчера наткнулся он на немцев. Другой бы сразу: «ах, окружение...» А он залег, подкараулил и открыл огонь. Убил офицера, положил их несколько десятков и создал панику. Это все разведчик один наш видел... Оттого немцы так быстро из леса драпанули.

Дементьев слушал с закрытыми глазами. Он проснулся, уже все понимал. Сердце его билось тяжело и блаженно, и он, не открывая глаз, слушал, как его хвалили.

— Да, парень стоящий, ты, Филя, держись за него!—сказал приятный, несколько медлительный и тоже знакомый голос.—Кругом еще кутерьма была, а он уже звонит в штаб полка: давай обед! Настоящий политрук...—Это говорил тот самый артиллерист, командир орудия, из землянки которого Дементьев звонил на КП полка.

— Где опасное место—там он,—поддержал голос, в котором по твердому акценту Дементьев признал старшину Касымова.—Понимает военное дело. Ведь это он сказал лейтенанту Засыпкину выделить противотанковое отделение...

«Противотанковое отделение... Аркадий Забалуев». Дементьев вспомнил все. «Где Аркадий Забалуев?»—хотел он спросить, но получился хрип. Все замолчали, он закашлялся, открыл глаза и поднял голову.

Он был в комнате, ярко освещенной электрической лампой. Стены комнаты были оклеены светленькими обоями, висели какие-то картины... Множество людей было в этой комнате и все они глядели на него:—Где Аркадий Забалуев?—спросил Дементьев, откашлявшись. «Неужели убит?»—думал он, видя, что все переглядываются. Он чувствовал, что смерть Забалуева, которого он видел только раз, будет для него тяжелым горем.

— Он в своем взводе, товарищ политрук,—наконец ответил Касымов.—Идет дождь, строим шалаши, обогреваем людей. Обед прислали хороший, горячий, подвезли к самому переднему краю.

«Значит, жив и наверное даже не ранен», — подумал Дементьев. Он вдруг вспомнил, как окруженные немецкими гаиками, быстро, наперебой называли они друг другу свои фамилии.—Что с отделением Забалуева?—спросил он.

— Мало осталось от его отделения,—твердо и грустно ответил Закоморный.—Не считая самого Забалуева, еще четверо человека. Да двое раненых. А тебя, товарищ политрук, реш

ли мы по собственному почину оставить здесь. Это блиндаж друга моего, командира зенитной батареи, лейтенанта Самирова. Ты ему понравился и он согласился взять тебя на излечение. А то отдашь тебя и не увидишь...

«Зенитная батарея...»—Дементьев вдруг вспомнил то, что говорила сестра. Их выручили зенитчики, они открыли огонь по танкам. Что ж дальше произошло?

— Расскажи, товарищ командир, как дела на нашем участке?

— Давай...—с готовностью сказал Закоморный. Раскрыв планшетку, он вынул карту. Большой, широкоплечий, он сел на диван, на котором лежал Дементьев, диван затрещал, кто-то пошутил над этим. Все время хлопала входная дверь. Рядом все время слышался голос связиста: «Береза»... «Береза»... Говорит «Смородина»... «Смородина»...—Не обращая внимания на все это и все заглушая, Закоморный рассказывал, ведя карандашом по карте, и Дементьев чувствовал, как с каждым словом Закоморного здоровье возвращается к нему. Оказывается, что за время, пока он спал, система оборонительных укреплений, созданных немцами вокруг захваченного города, была разрушена навесным огнем артиллерийского дивизиона капитана Стахеева, и стрелковые полки дивизии перешли в наступление. Задача, которая дана была их роте—не дать фашистам прорвать центр расположения дивизии, эта задача с честью выполнена.

— Всего подбито одиннадцать танков. А из двух фашисты сами выбежали, и танки целехонькие нам достались... рассказывал Закоморный.

— Так-так...—тихо проговорил Дементьев. Сейчас он не смог бы словами выразить, почему фашисты бросили танки. Но он помнил, что тогда, когда это происходило, он думал об этом. Мысль эта была очень важная, но трудно было сделать усилие и вспомнить ее сейчас...

— Какие у нас в роте потери?—спросил Дементьев, откинувшись на подушку.

— Восемнадцать убитых, двадцать два раненых,—ответил Закоморный.

— Надо бы партийное и комсомольское собрание провести,—сказал Дементьев.

— Никаких собраний!—оборвал его вдруг сердитый голос. Сестра только что вошла, в ее руках была большая дымящаяся кружка. Только по голосу мог он признать эту девушку, сейчас она была совсем другая.

— ...Я под свою ответственность согласилась зас оставить здесь, товарищ политрук... не только строго, но даже резко сказала она,—и никаких собраний! Ее лицо, худенькое, с ост-

рым носиком и подбородком и припухлым ртом, побледнело и стало уродливым, и все в комнате замолчали, чувствуя неловкость происходящего...— Выпейте,— буркнула она. Неужели это она была так ласкова, так возилась с ним?.. — Выпейте это,— сказала она сурово. Он ожидал, что ему придется испытать какого-то горького лекарства, но это было горячее сладкое какао. Онпил под сердитым взглядом ее синих, очень темных глаз. «Вот бы она Гриша меня назвала,— подумал он, поднял на нее взгляд, но ее не было в комнате. Хотел подумать о ней, но заснул.

Он просыпался и опять засыпал... Какие-то события врывались в землянку, доносились до него в разговорах возбужденных и громких. Люди приносили с собой запах земли, порохового дыма и сырых шинелей и снова уходили. Ему казалось, что он пробуждался бесчисленное количество раз.

Вдруг, проснувшись, увидел он, что комната пуста. Только связист кричал по телефону: «18 самолетов, 3 штуки сбито. Нападение продолжается, но отбиваемся». «Олять нападение»,— тревожно подумал Гриша и стал подниматься. Но в это время вошла сестра, за ней санитары внесли носилки.

— Ставьте вот сюда... осторожней ставьте,— говорила она. На носилках лежал русенький паренек, его брови были сведены, губы закушены...— Осторожней, осторожней,— говорила она и вдруг увидела, что Дементьев сидит на диване.

— Я уже ничего себя чувствую,— виновато ответил Дементьев на ее строгий взгляд, но тут же быстро лег. Эта испуганная быстрота, очевидно, ей понравилась. Не усмешка, только тень усмешки мелькнула по ее остренькому и чем-то привлекательному лицу. И вот она склонилась уже к мальчику на носилках.

— Ну как, Фочка,— что у тебя?— спрашивала она. Заботливость и нежность ее голоса были обидно знакомы Грише... Она что-то делала с ногой Фочки, по движениям ее локтей видно было, как осторожны ее касания. Фочка вдруг взвизнул и свирепо обматерился,— у него был петушиный, ломающийся голос.

— Перелом кости есть, сейчас тебя унесут в санбат.

— Иринка, послушай, ты не думай, что я на тебя ругаюсь.

— погоди, Фокин,— деловито говорила она, записывая что-то в блокнот— как твое имя, отчество. А то мы все Фочка, Фочка...

— Послушай, Ириша...

— Нечего слушать, Фокин. Я командирский блиндаж в санбат превращать не буду. Давай твое имя, отчество.

— А вот не скажу. Чужого-то дяденьку здесь оставила,— сказал Фочка, скверно намекая...

— Ах, ты вот как... Товарищи, унесите Фокина без имени, отчества... Санитары, посмеиваясь, подхватили носилки.

— Ириночка, прости... Ой! Он сделал резкое движение и опять выругался. В голосе его были слышны слезы.

— Прощаю. Все прощаю, Фочка. До свиданья.

Носилки унесли. Слышно было, как сестра моет руки, звеня рукомойником. Вот она пошла к выходу. Она высокого роста и очень легка в движениях... Сейчас она уйдет.

— Сестра, расскажите обстановку.

Она взглянула на него своими темными глазами.

— Они опять палетели. Это Фокин сбил самолет. От его орудия в сорока метрах упала фугаска. Ему перебило ногу осколком. Но он не ушел. Отказался уйти. Пока не сбил самолет,—говорила она медленно, точно раздумывая. Потом помолчала...—Настоящий гвардеец...—сказала она протяжно.. Да что это за разговоры!—прервала она себя. Спать,—приказала она,—уже чувствуя свою власть над ним, забавляясь ею. Он послушно закрыл глаза.

«Гвардеец,—опять это слово! Им отмечают здесь лучших, им поощряют на подвиги... Конечно! Гвардия—это отборные, самые надежные войска... В гвардии служил дед Васенька в Преображенском полку». И дед Васенька, высокий, костлявый, в блеклоголубой от многих стирок, ситцевой чистой рубахе и с такими же, как рубаха, блеклоголубыми большими глазами возник, как живой, и Гриша засмеялся от радости: как в далеком детстве, голосом низким, глуховатым, точно издавека, вел старик любимую свою песню: «Наш могучий император сам и пушки заряжал, сам командовал полками...»

Прозрачен и легок был сон Дементьева, и все, что происходило в землянке, входило в этот сон и не всегда мог Дементьев отличить, что происходит во сне и что на яву.

Три молодых командира сидели за столом. Они пили пиво, подносили ко рту большие стеклянные граненые бокалы и рыжие пивные огни играли в их гранях... Пиво пахло на всю землянку. Дементьеву тоже очень хотелось пива, но он смущенно лежал на своем диване и не просил: в детстве самые интересные сны пугливо рассеивались, когда он желал вмешаться в их причудливый ход—и сейчас он тоже боялся, что как только подаст голос, сразу все очарование происходящего рассеется.

С одного края стола сидел лейтенант Закоморный. Второго командира Гриша Дементьев видел с полуоборота: вялый ус, полная щека и упрямый молодой затылок. Когда кружки опорожничивались, он, кряхтя, исчезал под столом—оттуда слышен был звук льющейся жидкости и в землянке сильнее начинало пахнуть пивом. Под столом, наверно, стоял бочонок, а этот, с

вялыми усами, лейтенант был, конечно, хозяин землянки, командир зенитной батареи Самоваров. Третий командир был без шинели и на зеленой гимнастерке его была та большая красная звезда, которой отмечают храбрецов—очень шла она к этим широко и без напряжения развернутым плечам, к этому скуластому лицу, устойчивую ласковость которого колебало то раздумье, то грусть, то веселье, то гордость. Он рассказывал—говорил по-украински. Гриша Дементьев любил этот, такой родственно близкий, певучий, язык и с яркостью сновидения рисовалось ему все, о чем рассказывал командир:

Звездная строгая ночь, пылающий за рекой, вчера еще мирный, советский город и около старого бульжного шоссе, в глубоком, поспешно расширенном придорожном рву — одно орудие и при нем орудийный расчет... Дивизия прибыла на фронт прямо из Москвы, на вокзале был митинг. Женщины плакали и дарили цветы, от вокзала тронулись под звуки духового оркестра—и вот он—фронт. Зарево пожара, неприятельские ракеты и кучка бойцов, которым предстоит кровью скрепить свои обещания...

«А нужно сказать, хлопцы, что у меня, командира орудия, с расчетом моим—не все тогда было ладно...

Нет, я не могу сказать, что они меня не слушали. Слушали, и все, как полагается по уставу, по форме и на вытяжку. Москвичи. Все среднего и вышесреднего образования. Но не заморыши какие-нибудь городские, а физкультурники, значкисты. Между собою у них смех, вольный разговор, а как я подойду, сразу замолчат: «Товарищ командир, товарищ младший лейтенант»... На лицах как будто уважение... Но кто их знает, может я по-деревенскому слова выворачиваю, может они надо мной сейчас смеялись.—И я думаю: мальчишки! Каждое утро начинаем мы боевой зарей. В любой час на нас могут напасть. А вы с утра до вечера резвитесь забалованные, заласканные советской властью! Я их тянул, беспощадно, жестоко тянул. Кому трудно, над тем еще посмеешься, а кто хорошо выдерживал, так верите, хлопцы, против того еще сильнее растревлялся и тянул, с каждым днем тянул все свирепей.

А результат получился такой, что на весенних маневрах, за месяц до войны, наше орудие показало себя на «отлично». Добился я того, что каждый номер стал делать свою часть операции с отчетливостью и точностью автомата, что в стрельбе из винтовки стало в нашем расчете несколько сверхметких стрелков, снайперов... Но я не удовлетворился этим. Вокруг все мирно цвело и сияло, а у меня в голове была война, только о ней я мог думать. Вот мое орудие вступит в бой. Ранят одного, убьют другого из моих номеров, тут же нужна будет

замена! И в учении я ставлю задачу, чтобы любой из моих людей мог любого заменить. Моему расчету очень пришлось по душе эта самая взаимозамена... тьфу, какое слово нехорошее, чтоб его выговорить, придется глотку пивом смочить: бувайте здоровеньки, товарищи! Я не выдумал эту взаимозаменяемость. Когда еще совсем молоденьким работал на Сталинградском тракторном заводе, был у нас в тяжелой кузнице волшебный бригадир на двенадцатитысячном молоте. Звали его Ваня Кубасов. В его бригаде любой мог стоять на любой операции, оттого люди работали с особым интересом и воодушевлением.

Так же пошло и у меня. На орудии—добился я взаимозаменяемости. Командир нашей батареи Стахеев Юрий Иванович всегда нас предупреждал, что главное в бою — это выручка товарища. Держись дружнее. За друга-соседа—глаза вырви. Я старался своему расчету это понимание передать. Они слушают, повторяют. Но по-своему повторяют, более богатыми, красивыми книжными словами, точно меня поправляют... И тогда я злось, придираюсь, требую повторять так, как я сказал. Раз приказано, они повторяют. Но переглядываются. И опять приходит мысль, что они между собой, или со своими бойкими городскими девушками—я видел их девушек!—надо мной смеются. Есть-де у нас командир батареи товарищ Велигур. Чушка с глазами. Так вот он как слова выворачивает и нас же еще поправляет... И я придумываю им ответ: как бы я слова ни выворачивал, но то, что я требую, ты будешь исполнять, иначе противник разнесет нас в дым в первом же бою.

И вот оно настало: противник, дым, первый бой... Юрий Иванович указал нам огневую позицию и уехал к другим орудиям. Мы окапываемся, готовим боеприпасы. Ребята мои все делают бодро, весело. Не на много они моложе меня, кто на два, кто на три года и все меня образованнее... Но дурее они меня лет на десять. Гляжу я на них, досада берет, и точно они сыновья мне: «Эх, ребята, скольких из вас не досчитаюсь в эту ночь». И тут у нас произошел дружественный разговор... такой, какого раньше никогда не бывало. Товарищи!—сказал я.—Приказываю зарядить винтовки. Наверно придется нам действовать не только снарядом, но также штыком, прикладом, пульей. Только вчера на митинге поклялись жизнь отдать за родину. Слово это серьезное, потому что помирать может сегодня придется.—Тут взял слово самый младший из нас, чемпион-конькобежец Москвы Смагин Алеша, чернявый такой. Его ранили сегодня в руку. Отец его—знаменитый профессор математики. Алексей—комсомолец, как и я. Но никто у нас в батарее не был дальше от меня, чем он. Болтун, прытун, всегда веселый... Я пас скотину, а он бегал в школу. Я добрался до трактора, а он кончил среднюю школу. Он учил-

ся в университете—а я тяжело работал на тяжелых молотах, у жарких печей. Баловень ты,—так я думал о нем.

И вот он взял слово и сказал: «Товарищ, младший лейтенант! Я знаю, что вы смотрите на меня отрицательно за то, что я всегда дурю. Но я очень вас уважаю, товарищ младший лейтенант. И все мы гордимся вами. Я был на собрании, когда вы рассказали свою биографию: подпасок, обучившийся грамоте шестнадцати лет, двадцати пяти уже стал командиром и таким командиром, как вы. Слова ваши о дружбе в бою, которые вы так настойчиво нам твердили—мы запомним их навсегда». Вот, примерно, он так сказал. И после его слов я к каждому подошел и пожал руку, а с ним поцеловался, как комсомолец с комсомольцем...

В это примерно время слышим—тарыхтит что-то по шоссе... Наш часовой окликнул, задержал: легковой газик, и выходит из него Николай Ильич... Тогда-то мы еще не так были знакомы, как сейчас—шутка ли, командир дивизии! Я к нему с рапортом...

Сам он маленький и на меня, как на колокольню, щурится. По лицу его видно: забот у него, забот... Я стараюсь докладывать ясно.—Батарея лейтенанта Стахеева, оружие, готовим стрельбу на дальнюю дистанцию, наблюдатель выслан.

— Не так все будет,—прервал меня полковник. — Немец прет с фланга большими танковыми массами, следом двинется его мотопехота. Под утро будут здесь. Сумеете встретить?—И опять на меня снизу вверх, как на колокольню. Я к своим, спросил тихо: как, сумеем встретить, товарищи?

И они все в разнобой и не по-военному, а по-штатски, по-городскому: об чем речь! конечно! что за вопрос... Мы, товарищ командир дивизии, все ляжем.

— Нет,—сказал полковник,—зачем ложиться? Ложиться не нужно. И, обращаясь ко мне: —Товарищ лейтенант, командуй и следуй за мной.

Я скомандовал. Мои работали прямо, как акробаты в цирке, и вижу, полковник заулыбался, даже забота, видать, отошла...—Какие у тебя молодцы,—задумчиво так и грустно сказал он. Я знал, что грусть у него о том же, о чем и у меня: кто из них уцелеет!

Особенно обрадовал полковника наш водитель трактора—Валя Фокидов, впоследствии мой верный друг, которому я жизнью обязан. Двух минут не прошло—и оружие готово к движению...—С таким не пропадешь,—весело сказал полковник и тут же перешел на строгость:—Следовать за мной!—И он сел в машину.

Едем не назад, как я думал, а вперед, к самому городу. Едем без огней. И вот уже черные затаившиеся домишки го-

родской окраины. Вокруг чистое ровное место и многое множество звезд.

А ночь страшная, в городе крики, пожары. Кругом стрельба, взрывы, то близко, то далеко,—бедная, бедная наша земля. И проклятые немецкие ракеты, то зеленые, то желтые, то красные, то и дело взлетают...

Прошло немного и нас стали обстреливать из чердаков, из кустов, из-за заборов. Помощника моего звали Зяма, еврей, но по-русски говорит хорошо—только быстро так, круто. Маленький, рыжий, кудрявый, где-то он сейчас! Посоветовались и приняли решение—пушку до утра в дело вводить не будем. Свободных людей поставим на пулемет, расставим посты снайперов и подадим огневые точки врага без помощи артиллерии.

Так и сделали. Как вспышка с чердака, сразу снайпер по вспышке посылает свою пулю. Не затихнет—подберемся поближе—и залпом. Они стали бить по нас пулеметом, но у нас тоже был «ДП». Мы им тоже ответили пулеметом.

Стало потише. Ребята опять стали между собой шутить и посмеиваться.

Вдруг часовой наш снова кричит: «Стой!» Гляжу—на шоссе три начальника, судя по кожаному обмундированию—танкисты. Один капитан и два лейтенанта. Капитан строго спрашивает меня:—Какой части? Сколько вас здесь?—И не успел я ответить, как Зяма вдруг ответил за меня:—Сколько нужно, столько и есть.—Ну, думаю, сейчас покажет ему этот капитан! Но нет, ничего. Капитан промолчал. Только глянул на него: недобрый такой взгляд... Висячий нос, усы такие толстые, русые. Вдруг один из подошедших лейтенантов хочет закурить. Я сразу отвел его руку с папиросой.—Демаскируетё, — говорю ему. Он вежливо руку к козырьку, но ничего не ответил. Мне стало как-то странно. Получается все время так, что капитан говорит, а эти лейтенанты даже голоса не подают: к кому ни обратишься, отвечает он один. Капитан рассказывает, что они из танковой бригады, что танки их разбиты, и они еле спаслись. Я знал, что танковая бригада на той стороне реки...—вам пришлось вброд пройти через реку?—спрашиваю я.

— Да, нам крестьяне брод указали,—отвечает он.—У меня в руках была папироса. Я будто невзначай уронил ее, нагнулся поднимать и тронул сапоги капитана: сухие. Как же они вброд переходили? Обман! Немцы! Я толкнул под локоток Алешу Смагина, а сам завел длинный рассказ о реке Березине. Тут болото, тут заводь, здесь омут. Вру. Они уши развесили, слушают, ждут, вдруг нужно что скажу. Тут их еще двое подошло, и Алеша Смагин сразу: «Руки вверх, кончай базар!» Один из немцев, оборотясь в сторону своего расположения,

хотел что-то крикнуть,—его по балде прикладом. Остальные руки подняли... Капитан нам: «Да што вы, да как вы», а сам глазами во все стороны. Но Алеша вынимает из его кармана немецкий пистолет и ракетницу.

— Это трофеи,—сказал капитан.

— Наши трофеи,—ответил ему я.— Тут он осердился и крикнул.— Дурачьё! Вы окружены! И если бы мы знали, сколько вас... Но Зяма ему сразу кляп в горло. Он только глаза выкатил. Связали мы их, как баранов, свалили в уголок и представили часового.

Окружены. Зачем он сказал это? Чтобы мы напугались и скорее бежали отсюда? Или разозлился, что попал впросак со своей плохо проведенной разведкой и не сдержал злобы? По нашему винтовочному и пулеметному огню они, верно, решили, что здесь стоит стрелковая часть и послали разведку, чтобы узнать, много ли нас. Да, нас мало, и кругом нас враги, но мы под своим небом и на своей земле...

Посоветовавшись с Зямой, высылаю разведку. В одну сторону—Алешу Смагина, в другую пошел Валентин, молодой художник... Сначала с той стороны, куда ушел Алеша, началась стрельба и ударили минометы. Через минуту такая же кутерьма поднялась там, куда ушел Валентин.

Алеша прибежал, Валентина мы больше не видали. Алеша рассказал, что немцы скопились вдоль заборов, установили пулеметы и минометы. Очевидно, окружают нас с флангов. Понятно. Выслали разведку, разведка не вернулась. Вот они ждут... Но мы ждать не будем. Скоро рассвет. Мы с Зямой отложили аварийный запас снарядов и открыли огонь из срудий.

Дадим несколько выстрелов и сразу отъезжаем метров на сорок... Не плохо учил я своих ребят! С первых же выстрелов они подожгли сарай с сеном! Немцев стало видно... Они переполошились, кричат, бегают, перекликаются. Тут и заработали наши «ДП» и снайперы.

Однако и немцы скоро пришли в себя и стали отвечать нам отчаянным минометным огнем. Убило двух, а ранены были все мы и многие по несколько раз... Стало светать. Нет, нет и погляжу налево, туда, где уже зарумянилась чистая зорька. Пожары, зажженные нами, полыхают во-всю, они много ярче ее, но она все разгорается, оттуда встает наше солнце... Солнышко, солнце, московское солнце... Светает, вижу лица ребят, осунувшиеся и закопченные. Никто не сдрейфил, никто не побежал. Я доволен ими, доволен собой. Строго учил, крепко выучил.

Вдруг, слышу, кто-то скачет верхом. Звонко так по мостовой получается. Соскочил с коня, прямо ко мне. Молодой

сержант, конник:—Где здесь младший лейтенант артиллерист, командир орудия?

— Я.

Передает мне пакет, в пакете записка.—Велигур бережно вынул из бокового кармана белый листочек и прочел: «Испугавшись твоего пожара, немецкие танки свернули. Твоя настойчивость и стойкость позволили нашим частям быстро сосредоточиться. Выходи из боя. Тот, кто вручит тебе этот пакет, будет провожатый. Усвой: мы в тылу у немцев, потому действовать придется осторожно, решительно и дерзко, так, как действовал ты. Представляю тебя к правительственной награде. Когда будешь жать руку Калинин, скажи ему привет от меня. Он мне тоже ее вручал. Полковник Н. Городков».

Велигур замолчал. Слушатели тоже молчали.

— Передал привет Калинин?—спросил лейтенант Самоваров.

— Какое там... застеснялся, забыл как папу, маму звать—огнем кругом, народу... Михаил Иванович ласковый, невозможно выдержать,—говорил Велигур. Его широкоскулое, сурового склада лицо поразило Дементьева выражением сдержанной нежности.

— Нет, я бы передал,—задумчиво говорил лейтенант Самоваров,—я бы непременно сказал: кланялся полковник Городков Николай Ильич.—И видно было, что приятно ему произносить это имя...

— Да разве ж он всерьез,—засмеялся Закоморный—он всегда так. Думаешь, что всерьез, а он шутит. Думаешь он шутит, а он всерьез. Когда в ту ночь ты отбивался на левом фланге, я был на правом... Нам передали его приказание: отходить, но не более чем на 100 метров в час. И вот я держу часы в руках и мы отходим—а немцев раз в десять больше. Мне поручен был фланг; у меня были четыре пулемета и одиннадцать автоматов, и мы положили сотни фрицев. 10 часов отходили и норму выдержали, отошли на километр. Не ели, не спали — в чем только душа держалась... И вдруг к вечеру сам Николай Ильич. Прямо ко мне в передовую линию. «Львы!»—говорит. «Суворовцы!» Как он сказал, мы сразу точно живой воды испили. Кругом рвутся немецкие мины, а он хоть бы что. Боишься за него, чтобы не убило, и являются глупые мысли—нет, не может его убить!

Он—душа наша,—после некоторого молчания сказал Велигур.—Мы дрались не плохо. Но были ведь геройские ребята и в других дивизиях? Почему же наша дивизия не только сохранила себя, но еще в этих боях собирала разрозненные части других дивизий? Потому, что с того страшного первого боя наш полковник себя не щадил, о себе не помнил, только

одно знал, одно помнил, чтобы нас скреплять воедино, чтобы были мы попрежнему боевой частью Красной Армии и наносили удары врагу. Даже тогда, когда немцам удавалось нас обходить и вклиниваться в наши боевые порядки, все равно мы чувствовали его руку...

С той ясностью мысли, которая бывает при ночном пробуждении, слушал Дементьев этот разговор, и весь смысл сегодняшнего трудного, наполненного смертельными и кровавыми событиями дня, с предельной отчетливостью выступал перед ним. Да, они, эти молодые командиры, говорили сейчас о дивизии, примерно, то же, что полковой комиссар Язев говорил о роте, когда передавал ее: собирать, сколачивать, чтобы был единый боевой организм. И снова Гриша вспомнил те горькие дни, когда шел он по своей земле, но шел, как чужой, прячась в запоздалой, необранной ржи, по лесам и болотам. А немцы оскорбительно господствовали в селах и на шоссе. Они установили там свои порядки, и надо было их опасаться так же, как зверь опасается охотника.

Нет, Гриша не пал духом. Они вместе с товарищем бросали гранатами штабную немецкую машину—в ней оказались ценные документы. Там добыл он себе немецкий автомат, который с тех пор ему верно служит... Он шел вооруженный и все-таки знал, что лишился главного своего оружия, оружия всех оружий—своего места в боевой армейской машине. И он счастлив был сейчас, чувствуя себя снова частью этой машины, и гордился тем, что находится здесь, в землянке, вместе с товарищами, которые, как и он, проверены и отобраны в боях... Николай Ильич. Полковник Городков Николай Ильич. Гриша знал и до этого имя командира дивизии. Но доселе это было только имя. А сейчас разговор молодых командиров сразу сблизил его с командиром дивизии... «Наша душа...» Да, именно так.

— Я, Филька, не верил, что тебе конец,—говорил Велигур.—Из нашей газеты меня попросили: ты был другом лейтенанта Закоморного, напиши о нем, об его подвиге и героической смерти. О тебе и о подвиге твоём я написал. О героической смерти писать отказался. Кто его видел убитым? — Велигур тряхнул головой, взял кружку со стола и поднял ее... — Так выпьем же, ребята, за дружбу, за боевую нашу дружбу! Самоваров допил, отставил кружку и сказал:

— Война тратит людей! Прислали нам в августе трех комсомольцев на батарею: добровольцы рождения 1923 года. Я еще взбунтовался. А сегодня из них последнего лишился — Фокина—и очень скучаю. А ведь сначала у меня голова от них пухла. Чего, кажется,—трое, а беспокойства, как будто их три десятка... Голоса крикливые. Все время пересмешки и дер-

зости. Но первый раз испытали мы звездный налет—это все в том же бою. Конечно, я не убежал, но я думал—скорей бы разорвало меня, к черту. Гляжу на мальцов... Они были на одном оружии: Фокин, Ласточкин, Суглик. Фашист вокруг них то вверх, то вниз и пулеметом, и бомбами, а они вертят пушку вокруг него и садят, садят по нему снаряд за снарядом. И фашист отлетел, нервы не выдержали, а они визг подняли, кричат, пилотками машут—понравилось!

У Ласточкина законченное среднее, его взяли в школу младших лейтенантов—герой командир будет! Суглик—до сих пор ужасно мне вспомнить, на руках моих умер, все маму звал. Орден пришел к нему после смерти, два самолета сбил. Остался Фочка. Это был гвардеец...

«Гвардеец!» Дементьев не выдержал:— Друзья, — спросил он, — и командиры, вздрогнув, обернулись к нему. — Я слышу все время, как вы говорите это слово—гвардеец—в образец, в похвалу. Никогда я не слышал, чтоб его где говорили так, как у вас...

Закоморный встал и почему-то на цыпочках, смешно раскачиваясь, подошел к дивану, где лежал Дементьев.

— Грыць,—спросил он. Ну, как головушка твоя?—В его мужественном голосе смешно звучала какая-то особенная бабья нежность—наверное, с ним самим в детстве разговаривала так его мать или бабушка.

— Так ведь наша дивизия гвардейская,—сказал Велигур. Или ты этого не знал?

— Гвардейская?—переспросил Дементьев недоуменно: Вас так называют за доблесть?

— Погоди,—перебил Закоморный, садясь возле него и положив на его плечо свою большую теплую руку,—или ты приказа Сталина не знаешь?

— Какой приказ?

— О гвардейских дивизиях. Не знаешь?

— Наверно, этот приказ вышел, когда я бродил по немецким тылам,—вслух подумал Дементьев. Он вдруг вспомнил, что их, политработников, направленных именно в эту дивизию—особенно тщательно отбирали. С ними должен был о чем-то побеседовать НАЧПОАРМ. Наверно об этом!

Но беседа не состоялась, их срочно направили в дивизию. В политотделе дивизии была горячка, кругом грохотала артиллерийская канонада, весь политотдел был на передовых позициях, молоденький секретарь политотдела с перевязанной головой (он был ранен и только потому, наверно, и был в тылу) быстро посмотрел его документы и тут же послал в полк.

— Выходит, ты дрался вчера весь день и не знал, что гвардеец... говорил Закоморный.

— Такие и есть настоящие гвардейцы, — сказал Велигур. Он твердо и ласково, точно показывая взглядом то, что не сказал словами, взглянул на Дементьева, неторопливо достал часы, посмотрел на них, покачал головой, усмехнулся и стал надевать шинель.

— Который час? — спросил Дементьев.

— Пять сорок две, — ответил Велигур, — шесть ноль ноль я должен быть у орудия. До свиданья, Филя, будь здоров.

В двери мелькнул бледный дневной свет, сутки прошли, настало второе утро, второй день.

Гриша давно не чувствовал себя таким выпавшимся и отдохнувшим, как сейчас, хотелось встать и пойти к своей роте.

Но рота сама пришла к нему. Это был старшина Касымов, чисто выбритый, весь свежий, даже морщинки его смуглого, коричневого лица казались молодыми. За ночь рота получила номер, стала второй ротой первого батальона. Прошла утренняя проверка, подвезли горячий завтрак, выделена походная кухня и обоз — шесть подвод. — Лошадка подходящей, а один кобылка есть белоногая, кличка «Франтиха», может под седло итти... — Касымов, видно, любил лошадей, волновался и немного, как это бывает у самых обрусевших татар, в речи сбивался с женского на мужской род. Он торопился, нужно было принять и проверить сбрую и тут же съездить за боеприпасами; от него веяло тем будничным деловым оживлением, которое так любил Дементьев. В десять ноль ноль Дементьев назначил партийное собрание, в двенадцать ноль ноль партийно-комсомольское собрание, в четырнадцать ноль ноль командир роты созывал командиров взводов — все это должно было происходить здесь, около постели политрука.

Старшина быстро ушел... деловой дядька, — одобрительно сказал о нем Закоморный. Дементьев ничего не ответил. Сегодня старшина ему нравился, но нельзя было забыть, что он вчера растерялся при появлении танков. Ненадолго растерялся, а все-таки нужно присмотреться...

Разговор продолжался, первый разговор политрука и командира. Говорили о вчерашнем бое. Дементьев настойчиво спрашивал о случаях трусости. Закоморный склонен был видеть в людях только хорошее и говорил об этих случаях с неохотой и мрачным отвращением. Но Дементьев настаивал и нужно было отвечать.

Но когда разговор перешел на отличившихся в бою, Закоморный сразу заговорил охотно, весело и многословно. У него, оказывается, были не только записаны фамилии лучших людей роты, но он даже успел кое-что узнать о каждом... Богатырь, которого Дементьев спас вчера от предательской пули немца, — называется Гаркун Афанасий Матвеевич, — рабочий-

стахановец завода имени Латышева, добровольцем пошел в ополчение, беспартийный. Закоморный назвал еще с десяток фамилий... Здесь были колхозники из Подмосковья, рыбак с Нижнего Поволжья, двое армян-пастухов... В числе этих людей назван был также Забалуев: сибиряк, прислан в полк после госпиталя. На собрание пришли коммунисты—восемь человек... Разговор с командиром так и не кончился. Но разве может иметь конец подобного рода разговор командира и политрука—он продолжается все время, пока они вместе работают...

Новодережкин, застенчиво поглядывая на политрука, вел регистрацию... Дементьев прислушивался к скупым анкетным данным и они оживали—лица людей, их голоса и движения досказывали то, о чем скупое намекала анкета...

Вчера в роте было одиннадцать коммунистов, а сегодня на собрание пришло только восемь.

Ивашин встал, снял пилотку со своей круглой ершистой головы, предложил почтить память погибших товарищей... Вслед за Ивашиным все сняли пилотки—только молодой лейтенант, командир 1-го взвода Груздев—курносенький, румяный, с орденом Красной Звезды на груди стоял, лихо вытянувшись и приложив руку к козырьку.

— На место убитых придут новые товарищи,—сказал Ивашин и тут же, не надевая пилотки, назвал несколько фамилий. Дементьев ждал, что он назовет Афанасия Гаркуна—того богатыря-стахановца с завода имени Латышева, мастера штыкового боя... Но Ивашин не назвал этой фамилии, и это удивило и заинтересовало Дементьева. Однако Гаркуна назвал его взводный командир Силин, и опять ничего не сказали о нем другие два коммуниста с завода имени Латышева... Девять человек записал Новодережкин, девять товарищей, достойных встать в ряды партии. Секретарем партколлектива Дементьев предложил Текстыня, белесого, с темносерыми добродушными глазами, большого латышца, члена партии с девятнадцатого года... Коммунисты одобрительно закивали головами: это подходяще, да, да... Все внушало доверие к этому человеку, в нем чувствовалась доброта и мужество, сила и скромность.

— Продумай, как расставить коммунистов по взводам и доложи мне,—сказал Дементьев.

— Есть продумать,—ответил латыш, подчеркивая военную отчетливость своего ответа и этим внося в нее некоторую милую шутливость.

Еще не кончилось партийное собрание, как стали подходить комсомольцы. Пришел, наконец, и Забалуев, чисто выбритый и веселый. Дементьев так обрадовался ему, что смутился, когда тот встал на вытяжку перед его постелью и приветствовал его. Комсомольцев было человек двадцать и Гри-

ша многих из них узнавал. Они со смехом и шутками рассказывались на полу, и в землянке сразу стало точно светлее от этих молодых лиц.

Трудно было говорить, не поднимая головы. Но Дементьев говорил, и его слушали в полном молчании. Он сказал, что рота вчера выдержала боевое крещение, но успокаиваться на этом нельзя. Главные боевые трудности впереди. Позади нас Москва, перед нами захваченное фашистами старое рабочее гнездо, которое нам нужно отбить. Коммунисту нужно в совершенстве владеть боевым оружием. Но этого мало. Коммунисту нужно быть первым в бою. Но этого тоже мало. Коммунисту и комсомольцу нужно быть организаторами масс, а в армии это значит быть креплением боевой части, тем, что ее вяжет воедино и неразрывно. Хороши наши винтовки, беспощадны штыки, страшны пулеметы, испепеляющи гранаты, крепки наши руки, бесстрашны сердца... Но есть еще оружие, оружие всех оружий—это боевая наша машина, наша рота, которая скрепляется сплоченностью, единством, спайкой, дружбой. Вспомним, товарищи, старое русское слово—дружина,—так в старину князь-военачальник называл свое отборное войско, свою гвардию... Мы скреплены дружбой, мы сталинская гвардия, сталинская дружина...—Хотелось ему поднять голос, произнося эти слова, но с каждой секундой уменьшались его силы, накопленные за ночь, и закончил он почти шопотом. Но все слышали. Тишина была в землянке. Дементьев замолчал, а тишина еще продолжалась, хотелось еще его слушать. Первым заговорил Текстынь:

— Но вот что, хлопцы,—сказал он,—на этом надо кончить. Ты, товарищ политрук, еще слабый, тебе нужно отдыхать. Отдыхай спокойно, то, что ты сказал, мы поняли. Мы видели тебя вчера в бою, мы знаем, что слова твои подкреплены делами. Набирайся сил, дорогой товарищ... Как сквозь гул морского прибоя, все нарастающего, слышал Дементьев этот голос и не помнил, как перестал его слышать, как впал в сон тяжелый свинцовый сон без сновидений.

Проснулся он от грохота и сразу подумал, что это, наверно, вблизи взорвалась фугаска...

— Какой ты неловкий. Итак ему сегодня покоя не давали...—с упреком сказала сестра.

«Это кто-то из роты ко мне пришел»,—подумал Дементьев. Он хотел уже отодвинуть стул, спинкой которого был заботливо прикрыт от света, хотел подать голос, как вдруг сестра совсем по-иному изумленно ахнула и очень ласково сказала:

— Васенька, это вы?

— Я, Ириночка,—ответил голос Новодережкина...—Я на

собрании вас признал. А вы меня нет. Вот я и зашел—мы ведь тут рядом стоим.

— Как же признаешь вас... Господи, как все на вас мешковато сидит. Как это в армию? Ведь вы освобождены были от армии?

— Так уж. Я устроил...—Важно сказал Новодережкин. Он усаживался, стуча сапогами и грохоча винтовкой; ее-то он, наверное, и уронил, когда вошел в землянку.—Ваш пример, Ириночка, на меня очень подействовал. Это было в один из самых страшных октябрьских дней. Я зашел к вам и узнал, что вы на фронте...

— Вам кто сказал?

— Мама ваша. Андрей ведь эвакуирован.

— Да.

— Ну, как он? Что он пишет? Они где? Во Фрунзе? Удалось развернуть театр?

— Не знаю, я не получаю от него писем.

Наступило молчание, Дементьев слышал, как недоуменно посапывает Новодережкин. В свои слова Ирина никакого выражения не вложила, точно они были не сказаны, а напечатаны.

— Андрей, наверно, пишет на городскую квартиру,—сказал, наконец, Новодережкин,—потому что пока к нему дойдет адрес полевой почты...

— Я не дала ему адреса полевой почты и я...—Она замолчала, вздохнула. Грише была уже знакома присущая ей особенность, этот, посредине речи, выразительный вздох... Она молчала, слышно было только, как недоуменно побряхтывает Новодережкин...

— Я его ни в чем не обвиняю,—злым голосом сказала она,—да и что произошло? Группа театральной молодежи, в том числе и актриса Ирина Владимировна, не захотела эвакуироваться вместе со своим театром. Пошли в рабочие батальоны, в агитбригады, в санчасть. Правы те, кто уехали, правы те, кто остались. И я бы, конечно, молчала, если бы вы не возникли тут неожиданно такой милый и нелепый. Андрей, конечно, старше вас. Но ведь он куда здоровее вас. Гимнаст, фехтовальщик. А у вас и сердце плохое, и плоскоступие, и зрение...

— Ш-ш-ш,—испуганно зашипел Новодережкин—я снял очки и, представьте, все вижу.

— То-то вы и сверзились в землянку...

— Ирочка, вы так громко говорите, а тут политрук...

— Ваш политрук в обморочном сне. Он не проснулся, когда вы тут грохотали.

— Читала я раньше о Николае Островском и никак не

могла себе представить, что это за чудо. А здесь я все время имею дело с такими людьми. Ведь головы поднять не может... Но вы слышали, как он говорил. И латыш после него очень просто и прямо сказал, в чем красота этих слов. В том, что каждое из этих слов скреплено делом. Ах, Васенька, я завидую вашей Леле, что ее муж настоящий гражданин и мужчина. Не машите руками, это так. Я радуюсь за ваших маленьких Андриюшу, Иру, что у них такой отец, и радуюсь, что у меня и Андрея Николаевича нет детей. Все.

— В ваших словах, Ириночка, есть что-то неправильное и, простите меня, даже изуверское. Вот я, друг Андриюши, не только не чувствую к нему отвращения, но попрежнему люблю его и даже радуюсь, что такого замечательного художника, как он, вывезли...

— Именно вывезли. Лучше не скажете. Хватит, Вася. Я не хочу, чтобы моего мужа вывозили. Пусть вывозят всех, но не его. Потому что если его вывозят, я его любить не могу. В любви всегда есть тайна—я скажу вам то, чего никому не говорила. Когда я увидела Андрея первый раз на сцене в пьесе о декабристах, он всем—ростом, повадкой, цветом лица, казался мне схож с Андреем Болконским. У него даже имя и отчество с ним одно. Видите, глупости какие, но ничего не сделаешь, так я полюбила и так любила. Но помните, что Кутузов сказал Андрею: я знаю твоя дорога—это дорога чести. Я ошиблась, Васенька. Мой муж—честный, добрый, благородный, но, оказывается—я это только во время войны узнала,—я хочу, чтоб муж мой был героем... Сумасбродство? Но что мне с собой сделать... Вы к политруку Дементьеву?—сказала она совсем по-другому—спокойно. Он спит. Его не нужно будить.

— Так я подожду.

Дементьев узнал голос Забалуева.—Я не сплю, — сказал Дементьев, отодвигая стул.—Она взглянула на него изумленно. Новодережкин уже успел ускользнуть из землянки...

— Извиняйте, товарищ политрук, что я пришел, — сказал Забалуев.—Но есть у меня предложение, может, через вас удобнее будет довести до командира. Митя Фетисов из моего отделения принял сейчас отделение разведчиков-первого взвода. Парень он ловкий, неустрашимый, да и ум у него для разведки достаточно хитрый. Но на расставаньи вышел у нас один разговор и вот какое отсюда вытекло последствие.

Он, значит, будет командиром разведывательного отделения 1-го взвода. А я командиром истребительного отделения 2-го взвода. А может лучше нам сделать, чтобы в каждом взводе у нас было отделение разведывательно-истребительное. Как ему поручил командир роты подбирать разведчиков — и сразу мне стало завидно, хочется тоже подбирать разведчиков.

А он мне говорит: «Эх, Аркаша, я мечтал, что ты меня обучишь своему методу уничтожения танков!»

— А у тебя есть свой метод?—спросил Дементьев, разглядывая Забалуева и любуясь им.. Он чувствовал себя старше Забалуева, это было приятное чувство.

— Есть, товарищ политрук,—серьезно, с достоинством ответил Забалуев.—Ведь я 24 танка уже подорвал. Это опыт. И он вдруг достал из своей сумки гирию и деревянный обруч. — Этот снаряд я выдумал, когда после первого ранения лежал в госпитале. Попросил — мне его и приготовили. Когда стал выздоравливать, приступил к тренировке. Сегодня я уже показывал им: колечко подвешивается на сучок дерева, и нужно бросать в него эту гирию с разных дистанций так, чтобы она пролетала через колечко. Я попадаю с любой дистанции из десяти десять. Это и значит, что боец, который так натренирован, будет попадать именно в ту часть танка, в какую наметит попасть. В шутку я назвал это упражнение — игра в колечко.

— Вот если бы фрицы узнали, в какие игры играют наши комсомольцы,—воскликнула Ирина. Глаза ее блестели, она раздумянулась, с восхищением смотрела она на черноволосого, всего точно искрящего Забалуева. Так вот почему имя Забалуева было первым, которое произнес он, этот политрук! — Простите, товарищ политрук, я не выдержала. Право, я бы сама не прочь так поупражняться.

— А что?—живо сказал Забалуев,—приходите, сестрица, сегодня вечером. Я вам покажу. На фронте это может всегда сгодиться. Но это самое простое упражнение, товарищ политрук. Я имею еще ценный опыт. Я ведь так делаю: как подорву немецкий танк и, если горячка боя позволяет, обязательно залезу и рассмотрю, как он устроен.

Дементьев вдруг вспомнил, как вчера фашистские танкисты выскочили из танка, еще не подбитого. Испугались. Чего они испугались? Конечно, им стало страшно, когда против пышащего огнем и смертью чудовища, вооруженного пушкой и пулеметом, шел такой вот мальчик Аркадий Забалуев... Да, этого можно испугаться. Три разведывательно-истребительных отделения по одному в каждом взводе, это нужно подготовить! Мы будем бить их, мы сильнее их!

— Ладно,—сказал Дементьев вслух.—Начинай подбирать разведчиков. Приглядывайся внимательно к каждому.

Хитрость, ловкость, терпение, мужество, стойкость — все, что мы требуем от каждого воина, все это вдесятеро должно быть присуще разведчику. И еще—у разведчика должны безотказно действовать прямые провода в душе. Я поясню сейчас, что это значит.

Есть люди, которые по всем признакам являются советскими людьми—общественных денег не крадут, зря никого не обижают, приносят пользу в мирное время. Но вот попал мирный человек в армию и сразу перед ним встает задача — отдать свою жизнь за родину. И тут одно из двух—или подвиг, или подлость, третьего нет. Это я и называю—разговор по прямым проводам. В мирное время действовала гражданская связь, наступила война—гражданская связь прекратилась. Заработал прямой военный провод. Ну, а если у человека этого прямого провода в душе совсем нет...

— Я понял, товарищ политрук!—перебил Забалуев.— Все понял!

— Приглядывайся внимательно к тем, кого берешь в разведку,—продолжал Дементьев. В разведке должны быть сильные, прямые, преданные натуры. Ты годишься в разведку, если идешь победить или умереть. Потому в разведку можно идти только добровольно. Разведчик должен ясно себе отдавать отчет, на что он идет.

И еще. Есть у нас в роте товарищ один—коммунист и, по всему судя, хороший человек. Но он близорукий, неловкий. Он, может, от души хотел бы в разведку, но мы такого не возьмем. Сам не желая того, подведет. У него вот винтовка из рук валится,—сказал Дементьев и краем глаза взглянул на Ирину. Он видел, как вспыхнула она: рассердилась и смутилась.

Забалуев ничего не ответил на все, что сказал ему Дементьев. Он только взглянул своими черными блестящими глазами. Помолчал, вытянулся, безмолвно попрощался, подняв руку к пилотке, и ушел.

— Значит, он все-таки разбудил вас, когда уронил винтовку?—спросила Ирина, подходя к дивану и становясь перед Дементьевым.

— Еще бы не разбудил? Я думал, что фугаска упала.

— Значит, вы слышали наш разговор...

— Слышал,—сказал Дементьев, краснея и не отводя взгляда от ее темных, настойчиво вопросительных и пасмурных глаз.

— Скажите... О прямых проводах в душе, то что вы здесь говорили, это вы из книжки взяли? — требовательно спросила она.

— Из книжки?—удивился он.—А разве вы это читали где-нибудь?

— Нет-нет. Но это мне знакомо. Точно я думала так сама...

— Я тоже сам думал... ответил он.—Когда шел по немецким тылам, у меня было время обо всем подумать. А там выбора нет: либо подвиг, либо подлость...

Вдруг она снова нахмурилась. Вспомнила...

— А это нехорошо, так затаиться и подслушивать чужие тайны,—сказала она.

«Не хорошо? Конечно, не хорошо,—думал Дементьев. — Но мне несколько не стыдно, точно так быть должно». Он продолжал глядеть в ее пасмурные глаза и глядел до тех пор, пока в них опять что-то дрогнуло. Она отвернулась и ушла, с такой силой хлопнув дверью, что некоторое время слышно было, как где-то осыпается земля.

«Но ведь, если бы я не подслушал, я не знал бы, какая вы». Такой ответ придумал он, но ее уже не было.

Конец первой части.

Саратовское областное государственное издательство. 1942

Отв. редактор *Е. Троценко*

Корректор *З. Чуднова*

---

НГ24008. Подписано к печати 17/X 1942. Тираж 25000. Уч.-изд. л. 3.  
Печ. л. 3. Знаков в бум. л. 82000. Цена 1 рубль.

---

Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата. Заказ № 3422.

Ан 14-47